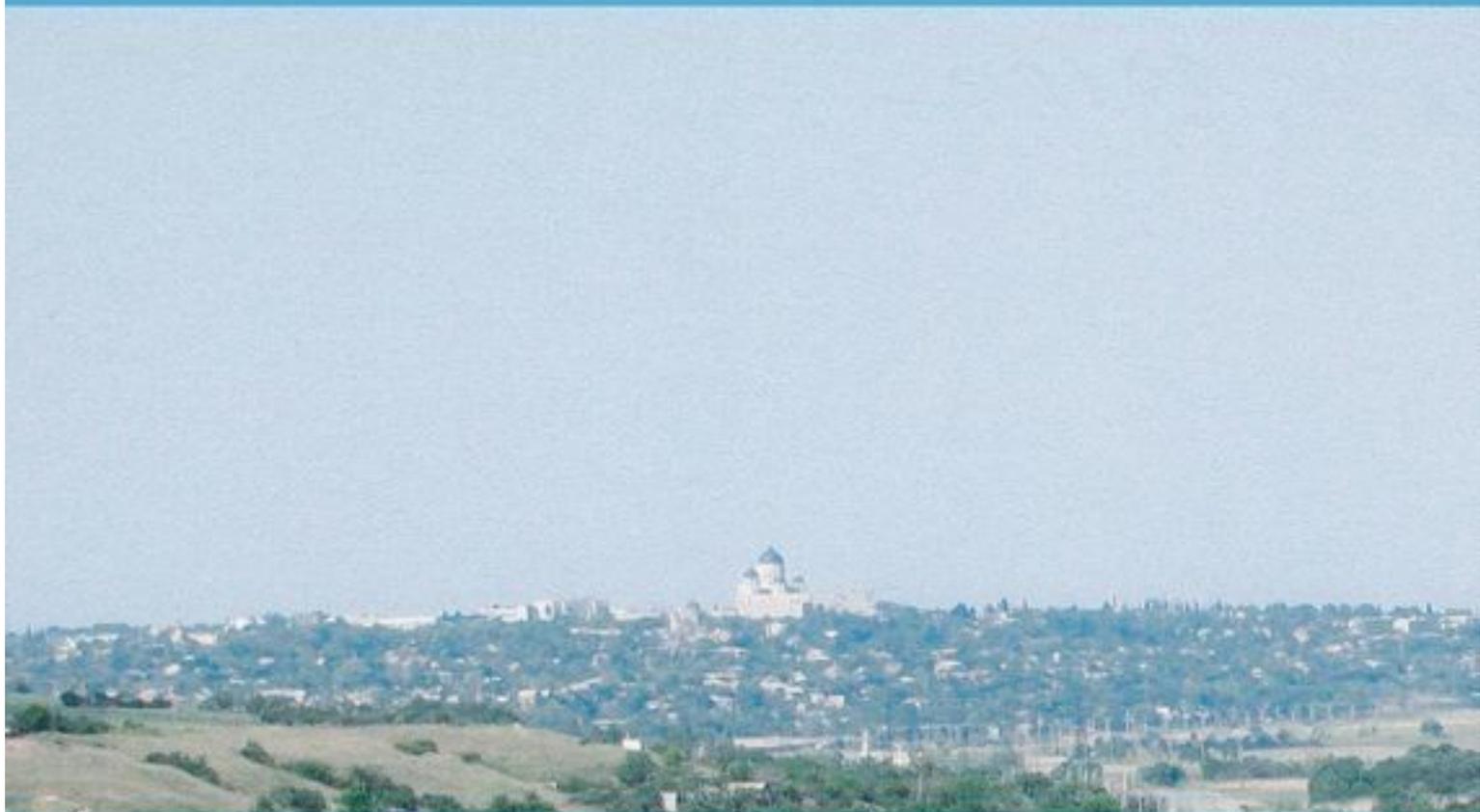


Владимир Владыкин



# **ПРОЩАНИЕ НАВСЕГДА**

Автобиографический роман

Владимир Владыкин  
**Прощание навсегда**

«Издательские решения»

## **Владыкин В. А.**

Прощание навсегда / В. А. Владыкин — «Издательские решения»,

Роман В. А. Владыкина «Прощание навсегда» рассказывает о жизни главного героя с детских лет и до совершеннолетия. Это пронзительное лирическое повествование в рассказах о годах детства, отрочества, юности в сжатой форме. На портале Проза.ру самое читаемое произведение.

## Содержание

Часть первая	6
1. Переезд из города	6
2. Размолвка родителей и рождение сестры	9
3. Знакомство с городом	13
4. Свет издалека	17
5. Отца увлекало радио	23
6. Первый порог знаний	28
7. Мгновения детства	35
8. Сельские будни	39
9. Крыло самолёта	44
Часть вторая	48
1. Вкус детской жизни	48
2. Сродство трёх душ	51
3. На большой воде	53
4. Возвращение и смерть беглеца	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Прощание навсегда**  
**Автобиографический роман**  
**Владимир Аполлонович Владыкин**  
*Сыну Евгению посвящаю*

© Владимир Аполлонович Владыкин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Часть первая

### 1. Переезд из города

Мне и трёх лет не исполнилось, когда ранней весной 1955 года тяжело заболела бабушка Мария Власьевна, образ которой, хоть и смутный, однако, навсегда остался в моей памяти. Но мы, внуки, по наущению мамы, называли её просто – бабой Машей.

Помню, стояла совсем новая, ещё не побелённая снаружи, саманная хата, с пристроенным к ней коридором с покатой крышей. Перед окном хаты, напротив входа в коридор, в неподвижной позе на табурете сидит бабушка Маша. Неподалёку от неё играют детишки от двух до четырёх лет. Это были мои братья и двоюродная сестра Вероника. Задумчивый взгляд бабушки нацелен на внуков, черты её сурового лица неподвижны, глубина тёмных глаз сумрачна и бездонна. Скорее всего, она была сосредоточена сугубо на личных переживаниях, о чём мы тогда вряд ли могли догадываться.

Но стоило нам поднять резкий шум, не поладив между собой из-за какой-то безделушки, как бабушка тотчас старалась примирить нас, делая отрывистые замечания: «И чего же вы не поделили, и чего верещите?» А потом снова умолкала, и её будто кто-то отвлекал, и она с кем-то внутри себя разговаривала. Возможно, она уже тогда догадывалась, что её жизнь, прошедшая через трудные годы коллективизации, голода и войну, находилась в поре своего заката. И никто не знал, кроме неё самой, что жить ей оставалось считанные месяцы. Тем не менее она надеялась побороть страшный недуг, чтобы помочь своей дочери поднять на ноги внуков. Но её часто одолевали горькие мысли, что дни её уже сочтены, и ей не суждено будет увидеть взрослыми своих внуков.

Впрочем, эти мысли она могла скрывать и не думать о близкой, или пока отсроченной своей кончине. А может, от нестерпимых болей внизу живота, она давно подготовила себя к неизбежному уходу, и оттого не хотела выказывать перед нашей матерью свои переживания. И с трудом представляла своих внуков взрослыми, которых, должно быть, впереди ждёт долгая и счастливая жизнь. Вот только, будут ли они помнить её, навечно лежащей в сырой земле?

До переезда в посёлок Киров, мы жили в городе Новочеркасске в тесной коммунальной квартире. Но когда заболела бабушка, дедушка, Пётр Тимофеевич, попросил нашу мать перейти жить в посёлок. И на пароконной подводе он перевёз из городской коммуналки наши скудные пожитки. Отец тогда отказался бросить городское жильё. Какое-то время мама надеялась, что он одумается, поймёт её непростое положение. Но не тут-то было, отец тогда в горячности бросил, что ему безразличны её родители. А ведь он напрочь забыл, что благодаря теще мать согласилась выйти за него замуж. И потому отповедь отца вызвала у неё сильное негодование, отчего она в отчаянии бросила, что больше не желает его видеть, с чем и уехала в посёлок, где прошли её самые лучшие годы...

И вот на плечи матери легло всё хозяйство: огород, скотина и трое маленьких детей. Пока мы играли во дворе на куче песка, недалеко от хаты (на виду у бабушки Маши, гревшейся на весеннем солнце, и вдыхавшей свежий воздух, настоянный на запахах прямой земли и молодой травы), мама и дедушка сажали на огороде картошку.

Когда солнце зашло за гряду пухлых сизо-чёрных туч, наползавших вороньим крылом, кругом стремительно потемнело, а из самой большой чёрной тучи на землю быстро пролился крупный дождь. Мы даже не успели спрятаться в коридоре, как тут же он прекратился, и вновь радостно и весело засияло пригревавшее солнышко. Но бабушка сидела под дождём, словно хотела впитать его в себя. Она ещё немного посидела на солнце, а потом встала с табурета и собралась идти в хату.

«Ой, пойду, а то сквозняком несёт, – видно, испытывая в теле неприятный озноб от набегавшего ветерка, сказала бабушка. – А вы ж, мои, чадушки, ладьте, тише играйте», – прибавила наставительно она.

Мы на миг оторвались от своей игры, молча посмотрели на неё, как она медленно отворила дверь в коридор и скрылась за нею. Вот такой она и запала в память, и очень схожа с портретным изображением, увеличенным с фотокарточки, на которой она снята в строгой и задумчивой позе, с несколько сухими, запавшими щеками, с островатым носом, тёмноволосой, в чёрном пиджаке и белой блузке.

Из семейных преданий я знал: в своё время именно бабушка сыграла основную роль в том, чтобы её дочь, Зина, вышла замуж за нелюбимого человека, коим был наш отец Платон Волошин. Когда Мария Власьевна советовала дочери принять его предложение, она вовсе не желала ей зла, просто у неё на это были свои причины, о которых будет сказано ниже.

После отъезда мамы к своим родителям, отец рассчитался с кирпичного завода и уехал на свою родину – Серный Урал. Пять лет назад он приехал в наш посёлок погостить к своему родственнику Глебу Волошину. Отцу тогда приглянулась симпатичная девушка, и он с ходу сделал ей предложение. Платон Нестерович никак не мог добиться от невесты согласие выйти за него замуж. И оттого, что Зинка такая несговорчивая, почти каждый вечер заявлялся к ней в подпитии. Но он не знал, что этим самым только делал хуже, так как исходивший от назойливого жениха запах, подавно отпугивал девушку. Отцу приходилось объяснять её родителям, что из-за неё он стал выпивать больше, чем нужно, она изводит его душу своим непокорным характером. Зачем Зинка его отвергает, он теперь стал на себя не похож.

Жених был по-своему красив, чем только маму и привлекал, но громким и грубым голосом и неприятными манерами отталкивал от себя. И на его приставания она отвечала: дескать, вот когда он исправит недостатки, тогда она ещё подумает. Вдобавок он не умел вести задушевные разговоры. Да разве можно выйти замуж за неотёсанного, чтобы потом всю жизнь кусать локти?! И мама долго была на распутье, пока не вмешалась бабушка Маша, которая видела, как жених уходил ни с чем. Платону было двадцать четыре года, а Зине – двадцать шесть лет, пора обоим строить семью. А это было как раз послевоенное лихолетье, когда даже подросшим невестам не всем хватало женихов. А что говорить о перестарках, пересидевших свой срок в девах. Вот на это и давила сознательно сердобольная бабушка, став всячески уговаривать дочь, чтобы не крутила носом, а то не ровен час и этого упустит. И она задумалась, ведь мамка права...

Одним словом, тайно оплакав свою неудачливую судьбу, больше не надеясь, что встретит своего суженого, на радость жениху мама дала согласие выйти за него замуж, не отказываясь при этом от своего пожелания, чтобы Платон перевоспитался, пересмотрел своё поведение.

Но то, чего она так опасалась, вскоре стало действительно сбываться с неотвратимостью рока. Отец никак не мог подладиться под требования мамы. И более того, со временем выпивал всё чаще и больше. Да ещё норовил бравировать своими фронтовыми заслугами, что исколесил всю Европу, побывал в Сибири, на Дальнем Востоке. И даже всплыл факт его женитьбы. Такое признание мама не могла оставить без внимания, это задевало её честь и разоблачало отца, как проходимца. Сначала она думала, что отец неосторожно пошутил и на этом всё забудется. Однако в ссорах он проговаривался, что у покинутой женщины есть от него ребёнок, и он может к ней вернуться. Мама была гордой, может быть, чересчур, поэтому, когда он выводил её из себя, как лютый мавр, не держала его подле себя. Она уже знала, что у отца правда и ложь переплетались в одно целое, и порой не понимала: когда он был искренним, а когда врал, или просто набивал себе цену. Но в любом случае от непостоянного в поведении мужа, можно было услышать всё, что угодно. Разве в войну она не была на окопах, и не видела, как солдаты и мужики пристают к девушкам и женщинам?

С отцом она, конечно, не собиралась разводиться, так как к тому времени уже ходила третьим ребёнком. В пылу ссор мама обзывала отца проходимцем и двоеженцем, тем самым как бы облегчая свою участь, попавшейся на крючок такому бессовестному прохвосту. Нападки мамы отец порой сносил молча. И несколько дней заглаживал свою вину тем, что носил двумя вёдрами воду из колодца. В остальное время он любил возиться только со своим велосипедом, содержа его в идеальной чистоте, на котором он ездил в город на работу. Часто велосипед служил поводом для ссор между родителями, мама считала, что он занимается чем угодно, но только не домашними делами, и приводил её в страшное негодование, измученную работой дома и в колхозе. Да ещё на её шее были мы, её дети.

## 2. Размолвка родителей и рождение сестры

Мама вовсе не испытывала острой необходимости упрекать бабушку за то, что та почти насильно навязала ей Платона, а теперь должна всю жизнь мыкать горе. Но бабушка сама видела, что она ошиблась в зяте: чем такой, лучше никакой. Да и как можно было думать об этом, когда женихи были на вес золото, которых быстро подхватывали девки. А этот, в сущности, собой ничего не представлял путного. Но теперь-то никуда не денешься – пошли дети – надо было жить и мучиться. Женщины тогда были намного терпеливей, чем сейчас. Может, у мамы и появлялась обида, но она её скрывала. А что касалось дедушки, в ту пору он не вмешивался в жизнь дочери. Хотя в душе был по-своему донельзя опечален, когда зять с тремя детьми бросил свою жену и подался неизвестно куда. Мама же полагала, что уехал к бывшей, с которой некогда сожительствовал и на этот счёт даже закрадывалось подозрение, что отец признался о бывшей с тем расчётом, что у женщин пользовался успехом и только она, Зинка, вредная, капризная особа, долго отталкивала его от себя. А ведь наряду с дурными манерами, отец был покладист и добр, в нём уживалось мягкость и грубость, скромность и хвастливость, скрытность и болтливость, честность и бессовестность...

Разумеется, в раннем детстве я не мог себе объяснить все причины семейных ссор и сцен ревности. Но зато в память глубоко врезалось возвращение отца с Урала после двухлетнего отсутствия. За это время умерла бабушка Маша, что случилось осенью, но её похороны помню довольно смутно. Дедушка, конечно, переживал, хотя этого мы особо не замечали, зато видели, как он помогал маме воспитывать нас и вести хозяйство...

Отец уехал весной и весной же через два года вернулся к своим оставленным детям. Мама, скрепя сердце, приняла беглеца, предавшего её с детьми в самый тяжёлый для семьи момент. И конечно, она надеялась, что после длительных скитаний он наконец обрёл самостоятельность и всерьёз возьмётся за семейный гуж. К тому времени ещё не зажила несвоевременная потеря бабушки, но дети отвлекали её, которые заметно подросли и с охотой тянулись к отцу. Да, мы его признали, выказывая безудержную радость, не догадываясь о натянутых между родителями отношениях. Причём отец привёз нам подарки: расчёску в футляре, перочинный ножичек, карманный электрический фонарик. Все эти вещицы побывали поочерёдно в наших руках, доставляя каждому его отпрыску неизменное удовольствие. Мама тоже разделяла нашу радость, наблюдая за нами с тихим восхищением, и придя к выводу, что детям отец нужен, каким бы он ни был проходимцем. Может, ей станет легче, он займёт образовавшуюся после смерти бабушки пустоту...

Однако спустя время мама увидела, что отец остался всё таким же балагуром, пьяницей и лодырем. В лучшую сторону ничуть не изменился и возведённый воображением замок спокойствия и согласия, день ото дня на глазах стал неумолимо рассыпаться, потому что отец по-прежнему выпивал. Только одно это перечёркивало напрочь благие надежды. Иногда я находил маму в углу кровати плачущей и, сострадая ей, молча гладил её по голове. В то время как отец, пребывая во хмелю, включал на всю громкость колхозное радио. А ведь на дворе стояла весна, призывая людей на огороды...

Когда отец был трезвый, он обращался с мамой донельзя грубо. Но стоило ему выпить, как он тут же делался, неизнаваемо мягок и добр. И такое его превращение мы тотчас оценили, зная, что к матери он тоже добрел, и всё, чтобы она его не просила, он прилежно и охотно исполнял. Во хмелю он даже меньше сквернословил, но каждая его попойка крепко ударяла по семейному кошельку. И лишь одно успокаивало: что ни трезвый, ни пьяный отец не пускал в ход кулаки. Отношения с мамой он всегда портил своей неисправимой ленью, так как домашняя работа для него как бы не существовала. Однако во всём он любил порядок, который требовал неукоснительно поддерживать ото всех, делая по всякому поводу без конца свои

громогласные замечания; только на этой почве чаще всего возникали семейные неурядицы и родительские склоки. Правда, при бабушке, отец вёл себя тихо или уходил к родственнику Глебу Волошину, который доводился ему, кажется, двоюродным братом.

Отец снова работал на кирпичном заводе, но квартиру, как ни старался, ему не вернули. Но от переезда в город мама напрочь отказывалась, она ещё хорошо помнила городскую жизнь в коммунальной квартире. Для городской жизни нужно получать большую зарплату и потому такая жизнь её ничем не прельщала. В сельской местности природное раздолье, хозяйство, а в городе нелегко жить на одну зарплату. И такими доводами она не поддержала притязания отца на квартиру, вскоре он смирился со своей участью селянина и каждый день ездил на велосипеде к утренней смене. Да и как могла мама оставить однорукого бабушку одного с коровой, овцами, поросёнком и курами...

Как бы родители плохо между собой не ладили, вскоре у нас появилась сестра. Я совершенно не помню, каким образом нас обуяло любопытство в связи с неожиданной отправкой мамы в больницу, поскольку до сих пор её самочувствие, кажется, не вызывало никакой тревоги. Ведь она ни на что не жаловалась. Правда, выглядела до странности чересчур располневшей, особенно в области живота. Хотя мы, её дети, эту произошедшую с ней перемену, воспринимали, как в порядке вещей, ни о чём запретном для детей тогда ещё не задумывались. А её неестественную полноту мы даже не замечали, с чем она, собственно, была связана.

И однажды весенним днём мама вдруг сообщила отцу, что её пришло срочно везти в больницу, для чего он торопливо пошёл на поиски автомашины. Не помню, как скоро ему удалось её найти, но в этот вечер мы впервые остались без мамы на попечении бабушки Пети. И для нас как-то непривычно было ощущать вокруг себя образовавшуюся пустоту, несмотря на увлечения своими играми. Не знаю, как без мамы чувствовали себя братья, мне же поминутно становилось как-то тоскливо и не по себе.

Наверное, неделю мы жили без мамы, и кто всё это время готовил нам еду, стирал, убирал, управлялся по хозяйству, я точно не берусь сказать. Конечно, только не отец, работавший в городе на заводе. Ближе к вечеру, как он каждый день возвращался с работы, мы засыпали его вопросами, касающимися исключительно её самочувствия. И всякий раз он отвечал нам, своим трём сыновьям, как-то уклончиво, чем только вызывал у нас недоумение. Впрочем, речь отца отличалась его природной невнятистью и косноязычием, потому из его путанного, несвязного рассказа, мы так ничего и не поняли. Правда, лишь из разговора отца с бабушкой, мы улавливали, что с мамой произошло нечто важное, а бабушка произносил слово «девочка». Он, как и мы, интересовался у него самочувствием мамы, а теперь вот и ребёнка, которым она, мы догадывались, благополучно разрешилась, и в результате у неё появилась девочка, а у нас – сестрица.

Мы наперебой спрашивали у отца: где мама её взяла? И слышали от него одно и то же, дескать, купила в магазине...

Признаться, в эту побасенку мы тогда поверили безоговорочно. В частности, я уже задавал родителям вопрос о своём появлении на свет. И мне отвечали одно и то же, дескать, я был найден ни где-нибудь, а в капусте, в связи с чем у меня возникали дополнительные вопросы: как я мог попасть в капусту и почему, на что мне также утвердительно отвечали, мол, никак, в капусте я пребывал изначально. Но как это надо понимать, ещё не моего ума дело, а поскольку оттенок недомолвок я ощущал безошибочно, то невольно думал, что в мире столько тайн, которые я никогда не разгадаю. А родители недосказанностью запутывали моё мироощущение. И как бы взрослые ни старались меня убедить в том, что я действительно появился из капусты, между тем в душе теплилось недоверие к такому непонятному объяснению моего рождения. А уж когда заговорили о сестре, я тотчас уловил явное противоречие между тем, что мы найдены в капусте, тогда как она почему-то куплена в магазине. Правда, дальше этого моё выяснение истины отнюдь не продвинулось. Но и этого было достаточно, и как бы меня не обма-

нывали, я догадывался, что сестра вышла исключительно из живота мамы. Поэтому рождение сестры для нас явилось поистине настоящим праздником, и мы не чаяли её увидеть.

Хорошо помню солнечный, но ветреный весенний день, когда отец привёз домой из больницы маму, державшую на руках белоснежный свёрток, на котором жадно сосредоточились три пары наших глаз. И потом сойдя с подводы бережно и осторожно, мама не спеша, видимо, ещё испытывая себя после больницы не вполне окрепшей, пошла по мощённому кирпичом двору к хате, неся в белом одеяле свёрток.

Мы с Никиткой от радости подпрыгивали, как полоумные, в то время как Глебка посматривал исподлобья, застыв на месте. И только когда мама вошла в коридор, мы быстро последовали за ней. Отец тоже нёс в руках какие-то вещи и сумку, наполненную городскими гостинцами и запахами. А возле нашего двора, обнесённого забором сплетённым из тонких жердей, на привязи стояла одноконная повозка. Братья сперва находились рядом с матерью и отцом, а потом метнулись к лошади. И только я вертелся подле мамы, так как мне не терпелось заглянуть в белоснежный свёрток и увидеть крошку-сестру. Вот и братья прибежали, так как содержимое свёртка было намного интересней, чем забава с лошадьёю...

Чуть позже отец поехал отогнать двуколку на колхозную конюшню. Если бы не такое столь необыкновенное событие, как приезд мамы с нашей сестрой, мы бы увязались за ним. А вместо этого мы увивались около мамы, которая уже разделась, сняв с себя – несмотря на приход весны – зимнее пальто с широким полукруглым цигейковым воротником, что даже не могли на неё наглядеться.

За то время, какое мы её не видели, она выглядела значительно похудевшей, и того объёмного живота, с каким она неделю назад уезжала в город, уже не было. И, кажется, её лицо выглядело очень бледным, отчего мне временами казалось, будто я вижу перед собой чужую женщину.

Однако меня, как и братьев, чрезвычайно интересовал лежавший в зале на кровати, ещё не развёрнутый свёрток, вызывавший в моей душе робость и страх, словно перед ответственным испытанием. И то, что он не подавал никаких признаков жизни, меня это тоже волновало. А заговорить с мамой об этом я боялся, поскольку не знал, что у неё можно было спросить о сестре, с чего начать разговор, при этом испытывая странное стеснение, как перед чужой тёткой.

И такое чувство мной владело несколько дней, пока я снова не привык к матери, которая с появлением крошки-дочери необычайно оживилась, всецело поглощенная заботами о ней, на что мы, несколько отеснённые сестрой, нисколько не обижались; нам самим было интересно ощущать себя братьями маленькой сестры, требовавшей к себе постоянного внимания. Я полюбил сестру, ещё не видя её, а когда мама развернула одеяло, из него показалось розовое личико с закрытыми глазами, с длинными ресницами, она лежала, словно куколка. И тогда моей гордости и восхищению не было конца.

Правда, маме не очень нравились мои безудержные восторги, так как опасалась, как бы я не сглазил ребёнка. А потом мне было как-то неловко оттого, как мама, пеленая её, складывала вдоль розового крошечного тельца ручки, туго заворачивая в пелёнку. Мне казалось, будто сестра подвергалась какому-то наказанию. Я не представлял, как можно спать словно со связанными руками, которыми невозможно даже пошевелить, долго находясь в одном положении? Однако такое обращение сестре почему-то не доставляло неудобства, так как она вела себя удивительно смиренно.

Я попытался выказать маме своё недовольство на такое, по моим меркам, жестокое обращение с девочкой, и услышал в ответ, что грудным детям пока нельзя освобождать ручки, потому что ноготками они могут поцарапать своё личико. Но этого я никак не мог понять, продолжая думать, что какой бы крохотной и несмышлёной сестра не была, руки непременно

должны быть свободными. Оказывается, в своё время со мной мама поступала точно так же, как и с сестрой...

Потом в этот или в последующие дни к нам приходили поздравлять со своими жёнами мамины братья. К тому времени у них уже было по двое детей обоего пола. Правда, у младшего дяди Власа дочь родилась на несколько месяцев раньше нашей сестры. По случаю родин устраивалось застолье, гости пели песни. А через месяц родители крестили свою дочь, и в хате два дня было опять полно гостей...

С того дня, как у нас появилась сестра, разумеется, маме намного прибавилось хлопот. Отец это сознавал и даже без напоминаний стал чаще носить воду из колодца. В те годы наш дедушка, как уже упоминалось, содержал приличное домашнее хозяйство: корову, овец, поросят, десятка три кур. Каждый год корова телилась, а овцы давали солидный приплод. Заготовкой кормов занимался только дедушка. А весной вдобавок начинались работы в огороде.

Правда, в ту пору наш сад был ещё молодой, из фруктовых деревьев плодоносили только абрикосы и вишни, тогда как яблони почему-то не приживались, и однажды отец привёз из города нам и дядькам десятка три яблонь белого налива. И в конце сада в один ряд мы посадили молодые саженцы.

### 3. Знакомство с городом

Со дня основания посёлка Киров долгое время садов на подворьях не было, так как в ту пору всё ещё действовал жёсткий сталинский налог, который взимался с каждого дерева. И поэтому не у одних нас, там, где теперь растут сады, земля использовалась под картошку. Отсюда посёлок много лет стоял как бы голым, продуваемый насквозь всеми ветрами. А лесополосы существовали по всем обширным окрестностям полей и балок почти от основания посёлка в период проведения коллективизации. Некоторые были совсем молодые, только-только подымались, густели и шумели на ветру гибкими ветками. Но и они отстояли от посёлка далеко, выполняя снегозащитные функции, обрамляя собой колхозные поля, которые выглядели зелёными, рыжими, а то и чёрными квадратами. И в какой-то степени зимой защищали наш посёлок от студёных ветров. Самая ближняя подступала к посёлку с севера-запада, она тянулась от колхозного двора в противоположную от посёлка сторону, вдоль размежёванных ею полей, служившей для них как бы границей. И эта лесополоса могла защитить собой посёлок лишь от северо-западного ветра, в то время как северная сторона продувалась насквозь, несмотря на то, что это обширное поле было холмообразным. И оно тянулось от огородов поселчан полого до своей возвышенности и уходило, спускаясь плавно дальше, сначала ровным покровом, потом немного проседало ложбиной, откуда снова выправлялось плавно на подъём и наконец упираясь в широкую поперечную лесополосу, которую называли Соколовкой.

Должен пояснить, её называли так потому, что в ней обитали соколы, которые становились добычей охотников. А вот северо-восточная лесополоса была реденькая, потому что жители посёлка потихоньку вырубывали деревья для своих хозяйственных нужд.

Но если от северного ветра посёлок частично заслонялся холмистым полем, то больше всего ему доставалось с восточной стороны, откуда чаще всего дули сильные ветры, так как с этого края его абсолютно ничто не защищало, поскольку и без того неровный степной рельеф бесконечно разрезали балки, и они перемежались полями, которые тянулись такими террасами к самому займищу и всё дальше на восток. Причём и сам посёлок с востока на запад тянулся полого единственной улицей, разрезанной пополам балкой, к самому подножию колхозного двора, раскинувшегося своими длинными фермами, сараями и прочими строениями на довольно возвышенном местечке.

Отсюда открывался чудесный вид и на посёлок, и на ближние и дальние окрестности, которые с детства для меня стали самыми дорогими. А с южной стороны прилегалo не очень большое поле, опоясанное параллельно нашему посёлку лесополосой, которая называлась Вишнёвкой, тянувшейся в четырёхстах метрах с востока на запад, тем самым защищая посёлок от южного ветра...

И далее в нашей семье жизнь текла своим чередом. Сестра подрастала, мы катали её по улице в деревянной колясочке, разукрашенной под хохлому цветными узорами. И это удовольствие мне доставалось больше, чем братьям, что было делать совсем не в тягость. Я представлял, будто катаю сестру на взаправдашней машине...

Понемногу отец втягивался в заботы семьи. Однажды он разломал половину старой хаты, саман аккуратно очистил и в считанные дни сложил в другом месте из него сарай, который отделял от двора сад. Однако старая хата ещё года два служила для скотины сараем, где содержали гурт овец и кур, а корову и поросёнка перевели в новый. И пройдёт какое-то время, только тогда старый сарай совсем доломают, а остатки хлама столкнут трактором в балку. А там, где ещё недавно была старая хата, землю хорошо перекопаем, очистим от камушков и станем сажать картошку.

В то время я ещё не сожалел о том, что здесь когда-то была хата, в которой прошли мои первые годы жизни. И мне отчётливо помнился низкий деревянный потолок, подбитый потемневшими от времени досками, земляной пол, устланный рукодельными дорожками. А между окошками в простенке стоял чёрный сундук, над которым на стене висело зеркало с поцарапанным полотном. На подоконнике, пригретый весенними лучами солнца, спал большой ленивый чёрный кот, которого почему-то я так любил таскать за хвост, а он только нехотя отмахивался лапой, словно протягивал мне для дружеского пожатия. Старая, повидавшая виды, хата была покрыта соломой, ставшей от времени тёмной и теперь она топорщилась, как колючая шуба у ежа. Со временем она уже представляла собой достаточное ветхое, низкое строение с нахохленным и мрачным видом, с облупившимися серыми стеками.

Вот поэтому, когда ещё была жива бабушка Маша, дедушка Петя принял неотложное решение построить новую, значительно просторней и совершенней старой хаты, к строительству которой были привлечены наши дядя. И таким образом она была возведена за одно лето, а доделывалась с участием отца на следующий год, после похорон бабушки Марии.

Об этом, разумеется, я не мог помнить, но о чём со временем узнал от мамы, которая охотно рассказывала нам о тогдашней жизни семьи. Зато хорошо помню, как в хате стелили сосновыми досками полы сначала в зале, а на следующее лето – во второй горнице.

Как ароматно и клейко пахла свежая древесная стружка, золотые её завитушки от верстака были размётаны по двору ветром, и особенно сильно пахло в хате, струганными гладкими, сияющими желтоватой белизной, неширокими половицами, красовавшимися пока в зале. И от этого в комнате стало значительно уютней и светлей, а стены казалось, раздвинулись и поднялись выше, чем были до того, когда был земляной пол.

Настилал полы дядя Влас, а ему помогал отец, почему-то он живей откликнулся на просьбу отца, хотя мне думалось, что дядя Митяй был профессиональным столяром-плотником, тогда как дядя Влас будто бы только подражал своему брату. Однако он тоже учился на плотника в том же ремесленном училище, что и дядя Митяй. Поэтому у они друг другу почти не уступали в мастерстве...

Изначально я был привязан больше к матери, нежели к отцу, значение которой в своей жизни я никогда не умалял, но держался в повседневности от него как бы на расстоянии. Зато мой младший брат Никитка установил с отцом почти приятельские отношения, отчего я стал ему завидовать, особенно, когда отец наладился брать его с собой на работу. И после таких поездок в город брат делился со мной своими впечатлениями, которые с такой нарастающей силой пробуждали во мне интерес к заводу, что однажды я упросил отца взять меня тоже с собой. И он согласился, утром следующего дня посадил меня на раму велосипеда и мы поехали в город.

Тот летний тёплый солнечный день мне врезался в память глубоко. Трудно передать те чувства, которые я пережил тогда, после чего мои представления о мире значительно расширились. Я сделал для себя открытие, что кроме родного посёлка, оказывается, есть населённый множеством людей город. Он стоял на вытянутом во все стороны высоком холме, который венчал пятью куполами собор. Его проспекты и улицы, как я узнал позже, были застроены очень давно полуторо-двух-трёхэтажными кирпичными домами, склоны которого так же были густо застроены почти такими же домами и они кварталами спускались к самой реке Аксай.

Среди скопления домов издали виднелись купола церквушек; ближе к заводу сельхозмашин высилась Триумфальная арка, покрашенная жёлтой охрой.

Город был виден, как на ладони, широкой панорамой. А для меня, до этого не видевшего в таком внушительном скоплении тысячи домов, это зрелище представлялось необычайно прекрасным, которым был, точно оглушён.

В такой приятной оторопи встреча с чужой жизнью и чужими людьми как-то непередаваемо пугала, отчего даже перехватывало дух. И казалось, солнце здесь светило как бы по-новому, будто совершено мне не знакомое, как чужая тётка.

Я вновь и вновь смотрел на город восхищёнными глазами. На первом плане то там, то тут вздымались в небо кирпичные заводские трубы; а справа высилось сумрачное здание тюрьмы, выложенное бурым кирпичом; чуть от него в стороне толпились пятиэтажные дома. А далее расстилались по всей окраине города частные кварталы из кирпичных и деревянных домов с шиферными и железными кровлями. В стороне от жилого сектора, по спуску, бежала булыжная дорога; затем она исчезала за домами и вновь поднималась по довольно крутому подъёму к самой Триумфальной арке и далее к рынку, где на углу пересечения улиц папертью на площадь смотрела Михайловская церковь с островерхим почти готическим куполом и крестом, который сиял на солнце позолотой. Городские кварталы теснились по всему холму, окутанному вдали солнечной дымкой и невесомой уличной пылью, поднятой проезжающим транспортом, и продуваемому со всех сторон степными ветрами...

В памяти так же глубоко отложился сам процесс делания кирпича и как он сырой, пахнущий влажной глиной, двигался по рольгану из-под огромного пресса длинной зеленоватой лентой, которую на отдельные дольки разрезал автоматический нож. И с рольгана ловкие руки рабочих перекладывали кирпичи на подвесные металлические люльки, потом они посыпались каким-то белым порошком, похожим на древесные опилки...

И весь этот нескончаемый конвейер двигался в глубокие красные печи, похожие на пещеры, для обжига. И потом из их раскалённых утроб уже красный кирпич рабочие вывозили вручную на железных тачках для складирования на специально отведённых для него площадках, притрушенных красной кирпичной пылью, где складывали их большими кубами раздетые по пояс мокрые от пота и жара мужчины и даже женщины, но, правда, одетые поверх платьев в кожаные фартуки, в больших ботинках и брезентовых рукавицах...

Отец в бутылке приносил «колючую воду», отдававшую кислотностью металла и протухшим яйцом. Вспоминалось также и то, как он договаривался с шофёром самосвала, возившего из карьера сырую глину на завод для поделки кирпича, чтобы тот покатал меня, а он этим временем мог заняться ремонтом вышедшего из строя оборудования...

А после приезда из города я ликовал от того, что мне будет что рассказать о своих впечатлениях маме и старшему брату Глебу. После первой поездки к отцу на работу, в город я попал не скоро, так как у отца ко мне почему-то не всегда было благосклонное расположение. И как я не просил взять меня с собой, отец всё равно неумолимо отказывал, а если я продолжал настойчиво упрашивать, он бесцеремонно на меня покрикивал. Ах, как я хотел, чтобы он взял меня на завод! Но не тут-то было. Утром он уехал один, а мне ничего другого не оставалось, как выйти за двор, на улицу, что делал несколько раз на дню, вплоть до вечера, устремляя свой тоскующий взор туда, далеко-далеко на степной просёлок, который поднимался из балки на бугор. Наверху сбоку дороги рос куст шиповника, принимавший в сознании причудливые очертания ехавшего на велосипеде отца. Я даже не мог себе ответить: для чего, какой цели я так настойчиво выглядывал без конца отца? Или только потому, что хотел дожидаться его и услышать от него обещание, что в следующий раз он непременно возьмёт меня на работу, увидев при этом тоскующий мой взгляд, направленный в затаённой обиде на него, что мне нельзя отказывать и ободряющим тоном скажет: «Хорошо, Миша, завтра мы поедем с тобой, будь готов!» Но к моему огорчению, он молчал, а я про себя отгадывал «ребус» сердечной привязанности отца к Никитке, которому он редко когда отказывал в чем-либо. И тот каким-то образом завоёвывал у отца все симпатии, ничего мне не оставляя. И между ними как-то сама собой завязалась тесная дружба, доходившая порой до панибратства, этакое бесшабашного приятельства, объяснявшегося во многом тем, что отец находил в Никитке нечто большее от своей натуры с беспечными замашками проводить время, чем во мне.

Когда отец работал во вторую смену, он не брал с собой даже Никитку. Но однажды брат попросился, чтобы посмотреть ночной город, и это ему удалось с первого раза. И вот они уехали, а двор для меня тотчас опустел. Как неприкаянный, не умевший никому жаловаться, я слонялся без дела по двору с сосушей в душе тоской. Мне никуда не хотелось идти: ни к товарищам гонять на поляне резиновый мяч, ни купаться на пруд. Словом, я бесцельно бродил, слонялся по двору из угла в угол, а моё воображение рисовало в подробностях город на холме с венчающим его собором, и в особенности его заводской район. И в подсознательном ожидании я крепко надеялся, что мне всё равно рано или поздно непременно удастся в упоении насладиться созерцанием его недоступной каменной величавости, насквозь пропахшего выхлопными газами автомобильного транспорта. А над его каменными мостовыми, покрытыми древней пылью, пронеслось множество зыбучих нескончаемых времён...

Почему-то образ города связывался в сознании также с холодным вкусом солоноватой колючей газированной воды, которую отец часто привозил домой в стеклянных бутылках...

## 4. Свет издалека

Второе десятилетие уже исчисляла атомная эра; неудержимыми темпами развивалась сельскохозяйственная, автомобильная, самолётостроение, электронная, космическая техника; перевооружалась армия; росли новые и хорошели старые города. А наш посёлок долгие десятилетия освещался керосиновыми лампами.

Молодость моей мамы прошла при керосинке, так как посёлок ещё не был электрифицирован. И только в конце пятидесятых годов по улице стали развозить сосновые электроопоры. А колхозные плотники новенькие ошкуренные брёвна, ещё свежо золотившиеся после очистки коры, заостряли на концах на конус, как карандаши. А с другого конца толстой стальной проволокой к ним прикручивали в двух местах металлические швеллера. И так накрепко их затягивали, что они намертво врезались в древесину.

Весело и хмельно пахло свежей смолистой корой и сосновыми стружками. И вот наступил долгожданный момент, когда столб опустили в вырытую квадратную яму швеллерным концом, затем туда набивали мелкого кирпича, тщательно трамбовали и начинали засыпать сырой землёй, чтобы столб не шатался, вонзавшийся в небесную лазурь как бы гигантской стрелой для стрельбы из лука. Один столб устанавливали на два двора. И когда по обе стороны улицы, наконец их все укрепили, приступили к натяжению алюминиевых проводов, крепившихся на предварительно вкрученные в столбы изоляторы. Два натянутых в струнку провода от столба к столбу поблескивали в лучах солнца и несказанно очаровывали нас, мальчишек. А когда пара проводов от столбов наклонно побежала к хатам, мы почувствовали радостное возбуждение, что скоро у нас в домах засияет электричество, и будем испытывать нескончаемый праздник, больше не будут нужны керосиновые лампы, столько лет служившие верой и правдой, давая свет.

Ещё до конца не была как следует готова электролиния, а многие хозяева уже заранее стали запасаться электрическими патронами, выключателями, розетками, роликами, плетёным, рябеньким проводом и прочим материалом, чтобы в хатах наконец зажётся долгожданный электрический свет. И вот это мгновение настало, отец дал колхозным электромонтёрам электрический фонарь с металлическим абажуром, чтобы они закрепили его на столбе и пустили для него ещё один провод. Остальную работу он мог вполне сделать сам, а потом провёл электропроводку в обеих комнатах хаты, в коридоре, так как на заводе он работал электрослесарем. А вот в некоторых хатах поселчан электроосвещение проводили колхозные электрики, одним из которых был Иван Шинкарёв, он жил в нашем посёлке и часто за чем-нибудь обращался к отцу, бывало, они даже вместе выпивали. И с того времени, как провели электричество, среди поселчан они стали уважаемыми людьми. Не знаю, как Шинкарёва, а вот нашего отца многие хозяева приглашали, когда узнали, что в нашей хате чуть ли не в первой из всего посёлка вспыхнул электрический свет. И к нашему двору без конца тянулись со своими просьбами ходоки, которым отец никогда не отказывал. И обыкновенно по воскресеньям или после работы он только и занимался этими шашками. Впрочем, и значительно позже, когда люди стали в своих дворах возводить новые кирпичные дома. И потому ему всегда находилась побочная работа...

Я помню, какое сильное впечатление произвела на меня и братьев первая электрическая лампочка. Она была грушевидной формы, из тонкого прозрачного стекла, когда к включению света всё было готово, мы собрались в комнате, и вот отец щёлкнул выключателем, и тотчас под потолком воссияла настоящая звезда, которая казалось, прилетела к нам с ночного неба. При виде диковинного светящегося огня, струящегося яркими колючими лучами в разные стороны равномерными золотистыми нитевидными потоками из совсем маленького шарообразного стекла, из моей души вырывалась несказанная радость. И от этого волшебного света

в комнате было так необыкновенно светло, как при солнечном свете. В другой комнате также засветилась лампочка, оранжевой яркой звездой, и отныне электрический свет навеки заменил собой керосиновые лампы, столько лет верно служившие людям. И перед мощью электричества казалось выглядели такими никчемными, что только вызывали жалость.

Хотя на самом деле от ламп пока никто не собирался отказываться, поскольку люди ещё не ведали, насколько надёжно и долговечно электричество, перед которым некоторые даже испытывали страх. Поэтому керосиновые лампы не убирались, а по-прежнему висели на стене на случай непредвиденных обстоятельств в недалёком будущем. И должен сказать, что лет через шесть, после сильного гололёда, под тяжестью намерзшего льда, электропровода были порваны и целую неделю электромонтёры восстанавливали в посёлок подачу электроэнергии. И все эти вечера во всех домах зажигали по старинке керосиновые лампы. Помню, как я сидел за столом и читал при свете керосинки несколько вечеров толстую книгу, в которой рассказывалось о подполье в условиях военного концлагеря. Я с огромным интересом знакомился с жизнью в неволе мужественных людей, которые боролись с жестокостью фашистов.

А вскоре в нашей хате вместо отжившей свой век «чёрной тарелки» колхозного радио, заговорил радиоприёмник, работавший от электросети, населивший тотчас комнаты неслышанными доселе голосами всего мира. И моё игривое воображение живо рисовало города тех стран, откуда вещались передачи, и от этого моя жизнь становилась заметно богаче. Моя фантазия развивала любознательность. Может быть, от этого со временем у меня пробудился интерес к географии и картам, так как я стремился узнавать как можно больше городов и стран, вещавших из радиоприёмника.

А спустя год или два после проведённого в посёлок электричества, наиболее зажиточные дворы стали приобретать телевизоры – эти своеобразные окна в неоглядный мир. В то время телевидение, разумеется, во всю уже распространилось по стране, о котором мы, однако, узнали намного позже, когда один или два двора уже владели телевизорами, которые для большинства были ещё долго недостижимой роскошью. Зато мы, тогдашняя послевоенная детвора, любила ходить по воскресеньям в клуб на детские сеансы, а кто-то и на взрослые. Фильмы о войне и пограничниках были предметом наших постоянных мечтаний. А стоило показать о гражданской жизни, как мы поднимали на весь зал воистину разбойничий свист, которым выражали протест и возмущение, обманутых киношником «серой мурой».

О том, какой будет следующий фильм, нас своевременно извещали, развешенные по улице на столбах, киноафиши, притягивавшие к себе мальчишеские взоры, как магнитом. В хорошую погоду, особенно летом, киношник-Алик, живший в городе, приезжал к началу сеанса всегда вовремя. Но в дождливую погоду, случалось, на клубе висел замок, но мы, детвора, невзирая на небесную хлябь, всё равно собирались и мокли под дождём в ожидании киномеханика с его кинолентами, которые несли под мышками, сопровождавшие его пацаны из соседнего посёлка Верхний, располагавшийся ближе к городу. Вот бывало мы упорно ждём, а дождь всё идёт, и уже начинаем терять надежду, мрачнеем оттого, что «кина» не будет. Но вот вскоре пришлёпал на протезной ноге, близко живший завклуб, жена которого убирала клуб, выметая мусор и вымывая за пацанами и взрослыми грязь. Он открыл деревянную пристройку к клубу, и мы укрылись в ней от дождя и теперь можем ждать киномеханика Алика со своими помощниками. С приходом завклуба вероятность срыва киносеанса как бы исчезала, и мы, обнадёживались, что скоро и Алик пришлёпает. Алик был хроменький, худощавый на вид, как-то несколько в пояснице перекошен, с тонким женским голосом, мог быть и суровым, и весёлым. Обычно двумя часами раньше он всегда крутил сеанс в посёлке Верхний, а потом подходил и к нам черёд...

Хотя время начала сеанса уже истекало, а долгожданного киномеханика всё не было и не было. Тем не менее мы, детвора, продолжаем терпеливо ждать, вовсе не думая расходиться по домам, с трепетным вожделием всматриваемся в серую хмурую концы улицы, где предпо-

ложительно должен вот-вот из-за поворота от кладбища появиться Алик с пацанами, всегда державшими под мышками по паре круглых металлических коробок с лентами.

Но вот по-прежнему улица в конце была пустынна, только колеблется под угрюмым серым небом морось нудного дождя. Мы безнадежно вздыхаем, опечалено опускаем к долу глаза. А кто-то из ребят, потерявших всякую надежду, обречённо изрекает, мол, всё – шабаш, кино на сегодня отменяется, киношник заболел от чрезмерного винного чревоугодия. И хоть эта шутка одними принималась всерьёз, а другими с недоверием, поскольку некоторые пацаны продолжали верить, и благодаря которым упорно ждём киношника и, как истые фанаты, тоже отказываемся верить, что на этот раз кино и впрямь отменяется.

Но вот кто-то самый остроглазый высмотрел, идущую через простирившееся от огородов подворий, поле цепочку странных путников. И тут раздался ребячий многоголосый ликующий возглас: «Идут, идут! Ура, ура!» И кажется с минуту в воздухе висит монотонный звук роя пчёл. И тотчас стремительно выбежали из клубной веранды на улицу, где была часть ребят, и мокли под дождём, как стражники, и всем скопом дружно захлопали в ладоши, оглашая звонкими визгливыми выкриками окрестности клуба, что праздник кино всё-таки нам обеспечен. Мы вознаграждены за терпеливое ожидание своего обожаемого киномеханика Алика, который в тот момент нам представлялся настоящим героем, совершившим где-то беспримерный подвиг.

«Ждёте?!» – кричал он как-то пискляво, озорным тоном, ещё издали, на подходе к клубу во главе своей свиты, сильно хромая на одну ногу, доставая на ходу от киноаппаратной ключи из пиджака, вымокшего под дождём за время пути из посёлка Верхний в наш посёлок Киров. Его лицо всегда этакое грустное, несколько рябоватое, сейчас лучилось удивлением, так как он и сам не надеялся застать нас, своих верных кинозрителей, поскольку задержался он ни мало ни много – на час. Правда, бывали случаи, когда напрочь потеряв терпение, его уже и впрямь не ждали, и всё расходились по домам. Однако в таких случаях Алик рассылал по улице двух-трёх пацанов, оповещавших, что ранее объявленный сеанс, состоится часом позже. На его «ждёте», мы дружным хором выкрикивали: «Ждём!» С Аликом в аппаратную ввалилось его несколько помощников, которых от киномеханика мы уже не отделяли, и воспринимали их как единую команду. Пока они перематывали киноленты и заряжали ими аппараты, Алик приступил к билечиванию детворы. А во время сеанса его помощники следили за порядком в зале.

В клубе почему-то всегда пахло пылью с примесью киноленты и сухого дерева. В зала стояли длинные со спинками деревянные лавки, порядочно изрезанные шкодливыми ножичками пацанов. После перематки кинолент и билечивания детворы, мы, зрители, рассаживались на лавках в ожидании сеанса, с желанием, чтобы он никогда не кончался.

И в этот момент наш дорогой киномеханик Алик вдруг превращался в сущего врага для тех пацанов, у кого по иронии судьбы не было денег. Сначала они упрашивали Алика пропустить их без билета, мол, забыли взять деньги, но обязательное принесут в другой раз. Однако Алик на слово никому не верил, и ни на какие уступки не поддавался. И поэтому казался беспощадным, жадным хроменьким уродцем. И тогда безденежными пацанами принималось дерзкое решение – во что бы то ни стало прошмыгнуть в кинозал. Вот кто-то подговоренный ребятами открывал изнутри, со стороны сцены, окно, которое за кулисами не было видно.

И таким образом безбилетники проникали в зал, прятались на сцене, тогда как некоторые, ещё до начала сеанса, умудрялись прятаться то под лавками, то в складках кулис. Однако Алика было весьма трудно провести, он уже досконально изучил повадки безбилетников. Ему ничего не стоило понаблюдать в смотровое окошко аппаратной за настроением зала. И если обстановка в зале ему не нравилась, если кто-то сновал чёрной тенью по сцене, он незамедлительно велел помощнику остановить проекционный аппарат, зажигал в зале свет и вскоре обнаруженные безбилетники были выпровожены на улицу.

Обыкновенно таких несчастных зрители провожали сочувственно, при этом испытывая удовлетворение оттого, что смотрели кино на законных основаниях. Хотя из нас никто не был застрахован от того, что в другой раз могли тоже оказаться на их месте.

Конечно, на этом безбилетники ничуть не успокаивались, стремясь вновь проникнуть в зал, как истые мастера своего дела. Но скоро были выявлены бдительным оком киношника и выведены Аликом за ухо на улицу под улюлюкающий смех зала. Пацаны из его свиты почему-то не всегда добросовестно выявляли безбилетников, за что между ними и Аликом возникали даже перебранки.

За время сеанса проникание в клуб таким же образом могло продолжаться несколько раз и столько же пацаны выдворялись вездесущим Аликом. Правда, некоторым безбилетникам иногда всё-таки удавалось высидеть сеанс от начала до конца. Но таких везунчиков было немного.

В следующий раз те ребята, которым надоело быть без конца выдворяемыми из зала, запасались необходимым пятаком. Именно столько тогда стоил детский киношный билет. Но в ту пору пять копеек считались деньгами, особенно для малоимущих пацанов, в разряд которых попадал и я, поскольку у нас была на счету каждая копейка. Поэтому экономя пятаки, мы подчас тоже рисковали пройти в зал без билета, чем особенно отличался Никитка. В отличие от безбилетных завсегдатаев мне почему-то везло чаще. Я не всегда выдворялся из кинозала. А вот Никитка со своим другом Димкой Метловым, даже имея в кармане пятаки, находили удовольствие пролезать в зал без билета и чаще кого-либо выгонялись из клуба.

Для выявления безбилетников Алик зажигал в клубе свет и, хромя, входил в зал, начиная внимательно шарить по лицам зрителей своим намётанным оком; и его нацеленный, острый взор мгновенно выхватывал Димку, которого он искал. Затем зацепился на Никитке, на братьях Косолаповых. А подручные Алика по его команде выгоняли прочь из зала нарушителей порядка. Разоблачённые пацаны, как, например, Иван Косолапов с Васькой Дубакиным, даже не дожидаясь пинка Алика, сами пулей вылетали из клуба под смех и улюлюканье зала. А вот и я притаился в углу, как мышь, жду своей очереди – полечу следом за товарищами, как пить дать; сердце при этом вовсю колотится. Я слежу тайком за взглядом Алика. И когда он приближался, я нарочно делал беспечную, ничего незначащую позу. О, какое чудо! Взгляд Алика лишь скользнул по мне и пошёл дальше прощупывать физиономии маленьких зрителей: неужели я спасён?

Однако всё равно побаивался, чтобы кто-то из моих недругов, например, Иван Косолапов, не продал Алику, что знал на опыте других. Но это особый разговор. (Сейчас тут ему не место). А что же меня спасло? Видимо, одно то, что я чаще брал билет, чем пролезал без него. Но однажды я тоже попался. Алик старался запоминать обилеченных им пацанов, чтобы потом ему было легче распознавать безбилетников, я только так могу объяснить, как однажды он выгнал меня вслед за другими...

Между прочим, Алик от этого, казалось, тоже получал удовольствие, словно от предлагаемой нами игры в безбилетника, так как никогда не выходил из себя...

Родители нам запрещали убегать на вечерние сеансы, но мы всё равно их не слушали. Но проникнуть в зал было очень даже непросто, так как нас, пацанов, на взрослое кино ни под каким предлогом не пропускали даже за деньги. Вот такое было тогда отношение к подрастающему поколению. Хотя фильмы были совершенно невинные, но было достаточно одного того, что они предназначались для взрослых. И нам оставалось только со стороны сцены залезать в окно, или перед началом сеанса спрятаться под лавками, что, конечно, было сделать так же нелегко, как днём на детском сеансе. Причём мы очень завидовали большим пацанам, потому что их запросто пропускали в кино. И мы были вынуждены просить кого-нибудь из них открыть нам внутренние ставни на окне, где в одной секции рамы стекол уже давно не было. И мы проворно, один за другим, пролезали в него и прятались за кулисами.

Если нас не обнаруживали, мы прямо на полу размещались смотреть фильм. Конечно, нам везло так не всегда. Кому-то из помощников Алика стало известно о наших проделках, и тогда он установил за окнами неусыпный контроль. Но мы всё-таки наловчились смотреть кино с улицы, в часть приоткрытого окна. Правда, в лунные вечера свет дорожкой падал прямо на экран, мешавший взрослым смотреть фильм. И тогда завклуб решительно закрывал ставни на крючки, а нам ничего не оставалось, как смириться со своей участью малолеток, или просто-напросто глазеть в узкую щель между ставнями. Хотя это довольно скромное соглядатайство для нас было мучительным наказанием...

Спустя много лет детская пора вспоминается с грустью, и с сожалением думаешь, что те времена безвозвратно канули в Лету. И даже теперь не верится, что с таким захватывающим азартом влекли к себе взрослые фильмы, которые открывали для нас совершенно другой мир, нежели детское кино. От этого жизнь наполнялась новым содержанием и смыслом, а мы становились то ли взрослей, то ли искущённей...

В наши дни старый клуб до того обветшал, что пришёл в полное запустение, и стоит полуразрушенным. Сначала, когда построили новый, в старом клубе устроили детсад. Но через несколько лет его перевели в специальное построенное для него здание со своей котельной. А клуб приспособили под общежитие для сезонников, прикомандированных на время жатвы и уборки урожая шоферов, студентов, присылаемых в помощь колхозу, даже обитали солдаты. А одно лето в нём жили одни цыгане. И всё это время клуб ни разу не ремонтировали. Поэтому со временем он неотвратимо приходил в запустение, с каждым годом ветшал всё больше и больше. И наконец пришло время, когда он больше ни под какое жильё уже был не пригоден. В нём совершенно отпала всякая нужда. А его вид, конечно, вызывал всемерное сочувствие и сожаление. И вот в нём были выбиты все стёкла, варварски изломаны двери, оконные рамы, осыпались обшарпанные стены, кусками отваливалась глинопесчаная штукатурка, прогнулся сильно потолок, из которого вырвана половина досок. И кругом хлам, мусор. Молодёжь пробовала своими силами привести клуб в порядок и оборудовать спортзал, но нашли только один закуток, позанимались всего одно лето... А когда заводилы ушли в армию, там уже некому было тренироваться...

Вот такая печальная, удручающая сознание картина предстала мне, зрелому человеку, приехавшему погостить на родину. Теперь трудно представить, как некогда в клубе проходили концерты художественной самодеятельности как местных, так и заезжих артистов из соседних хуторов. Когда-то крутили здесь кино, устраивали новогодние вечера школьники и по случаю других праздников давали концерты силами учащихся для земляков. Даже проходили колхозные собрания и массовые гулянья на день урожая. Одним словом, плохо ли, хорошо ли, тем не менее клуб добросовестно исполнял отведённую ему роль поддержания на селе культуры...

Очень жаль, что история клуба, похоже, уже навсегда забыта. И недалеко то время, когда обвалится крыша, разрушатся стены, и останки безжалостно сметут в овраг. И ничто больше не напомнит грядущим поколениям, что на этом месте некогда был сельский очаг культуры...

А пока вокруг клуба шумят высокие пирамидальные тополя, им ещё здесь долго стоять – этой весёлой леваде, как бессменным стражникам и свидетелям нашего отшумевшего в Лету детства... И ещё через несколько лет то, что осталось от клуба было снесено, впрочем, нынче нет и самого колхозного двора, так как фермы, кузня, сараи и другие постройки были варварски снесены, а кирпич разобран и увезён. Стоит лишь кирпичный молочно-товарный комплекс, под плоской бетонной крышей, его никто не рискнёт без автокрана разобрать по кирпичику. Вот он пока единственный и стоит, как символ ушедшей советской эпохи...

А что новый клуб? Он, разумеется, довольно крепок, выложен из шлакоблока и его тоже обрамляют тополя, но они чуть моложе. Однако в клубе в годы перестройки изредка, раз в неделю, крутили фильмы, но только вечером. Много киномехаников познал он, Алик давно прочно осел в городе, а жив ли он нынче, кто теперь скажет? В последние годы кинофильмы

возили из Аксая, когда тот в 1965 году стал нашим райцентром. Моя юность и молодость проходила в новом клубе.

Давно ушли в прошлое танцы, да и молодёжи осталось очень мало. В наше время тут было весело и шумно, на танцы съезжались даже из соседних посёлков, станиц и хуторов, устраивали концерты, собрания, новогодние ёлки, а от библиотеки, что находилась под одной крышей с клубом, уже ничего не осталось, книги растащили ретивые читатели. Правда, уже в новое время, один студенческий кооператив из города, всего сезон показывал видеофильмы из запретного когда-то репертуара.

И на эти сеансы сбегалась молодёжь со всей прилегающей к нашему посёлку округи. Как бы то ни было, однако, это уже далеко не то старое время, время моего детства, когда мы ждали кино поистине, как праздника для души. Ведь тогда ещё так не было в каждом доме распространено телевидение, как теперь и мы только-только открывали для себя окно в большой мир, приобщаясь к настоящей культуре.

Нынче клуб отремонтирован и, говорят, сдан в аренду для занятий восточными единоборствами, приезжающей из города молодёжи. Но что это за люди на иномарках, никто не знает, или только догадываются... И слава богу хоть в таком качестве кому-то приносит пользу клуб, превращённый в спортзал...

## 5. Отца увлекало радио

Мой отец, Платон Нестерович, в молодые годы увлекался прослушиванием радиоголосов. Ему было крайне интересно знать, что говорит о нашей стране радиостанции «Голос Америки» и «Свобода». Хотя у него никогда не было антисоветских настроений, от отца я не слышал отрицательных высказываний о советской власти. Одно время он был даже членом партии, но за неуплату членских взносов, как он объяснял, его исключили из рядов коммунистов, о чём несколько не жалел.

Я полагаю, он нарочно так поступил, так как партия ему ничего не давала, которая была хорошей лазейкой во власть для карьеристов и проходимцев. Тогда как отец был всего-навсего рабочим. Причём зарплату он получал небольшую, поэтому решил вернуть деньги в семью, которые уходили на уплату членских взносов. О коммунистах отец отзывался по-разному, но высокого мнения о них у него не было. Он любил слушать новости, следил за событиями как в стране, так и за рубежом. Тем не менее в политике почти не разбирался. Зато был он, как сейчас говорят, фанатом радио. Поэтому подключал, выведенный на улицу, к радиоприёмнику громкоговоритель, установленный на карнизе причёлка хаты под самой крышей. И таким образом, этот динамик прямо-таки выкрикивал на всю нашу улицу, что происходило в столице на октябрьских и Первомайских праздниках. Особое впечатление производил диктор Левитан, рассказывавший о военных парадах и демонстрациях, после которых передавали праздничные концерты.

Радио, включенное почти на весь день и на второй тоже, как бы олицетворяло народное гулянье, окрашивая его весельем и радостью, и когда отец на какой-то час-другой выключал радиоприёмник, на это время праздничное настроение несколько спадало. И как будто вся окружающая действительность, расцвеченная праздником, принимала самый заурядный и будничный вид. Однако стоило отцу вновь включить динамик, как всё буквально на глазах преображалось: и деревья, и дома, и улица, и люди. Я любил нарядных людей и сравнивал с ними себя. И ходил аккуратно, чтобы не запачкать новые брюки, рубашку и туфли, стряхивая с одежды то пыль, то соринки. Притом оберегая блестящую поверхность туфель от неосторожного движения при соприкосновении с дорожными неровностями и колдобинами. Мне почему-то очень хотелось, чтобы взрослые, мальчишки и девчонки, тоже были по праздничному одеты для усиления своих ощущений народного гулянья. Поэтому, если вдруг встречался человек не в новом или хотя бы приличном костюме, тогда мной это воспринималось как элементарное проявление бескультуры.

В детстве я ощущал неповторимость времени, а неудержимый бег дней очень хотелось удержать, что больше всего испытывал такое желание на праздники. Я бесконечно сожалел, что они так быстротечно проходили, оставляя после себя одни воспоминания. Я тщился усилием воли остановить мгновение, запечатлеть в душе каждую прожитую секунду. Но это – я понимал – невозможно было сделать, и уходящий первый день праздника становился источником переживаний только потому, что он больше не повторится.

И второй день, разумеется, уже не будет походить на первый. Словом, даже по такому ничтожному поводу, как смена одного дня другим, ничем уже не похожим на первый, поскольку события пойдут совершенно новые, одно это было вполне способно испортить тебе настроение. И это надо было признать без обиняков, не выдумывая никаких иллюзий. Но детское сердце почему-то не собиралось мириться с этим удручающим фактом, что в том виде каким был вчерашний день, он уже никогда-никогда не повторится, таков уж ход необратимого времени, неумолимо меняющим всё и вся.

И только в памяти сохранялись тоскливые ощущения пережитого накануне, будто я терял и расставался навсегда с нечто дорогим и несказанно любимым существом. И мне лишь оста-

валось вспоминать нарядных, возбуждённых гулянками, людей, сельскую нашу улицу, преображённую своим убранством, подбеленными деревьями, выметенными дворами и вывешенными флагами на домах местной «знати». И всё это вкуче создавало праздничное настроение.

Хотя красные флаги на домах порой рассматривались людьми в стремлении наших держиморд показать свою верность советской власти. А вслед за «знатью» это делали её приближённые. Ведь почему-то ни один рядовой колхозник не водружал на свою хату флаг, и для них ничего не менялось. Они также работали с ощущением, что никакого равенства не может быть, вместо чего продолжалось расслоение людей на богатых и бедных, которое у нас всегда замалчивалось. Сознывая, что расслоение общества двигалось по эволюционному пути, что социального равенства быть не может, я приходил к выводу, что идея социализма, по своей сущности не уловима, что коллективная собственность условна. Единственно, что умели делать устроители рая на земле, это устраивать праздники под надутые браваурные марши, которыми прикрывали всю срамоту тщетных усилий построения коммунизма.

Пустые лозунги и призывы, разбавленные весёлыми маршами, лившиеся по праздникам из динамиков на затурканные головы людей, зомбированных господствующей идеологией, властвовали над сознанием слепо поверивших простых миллионов людей...

Наш отец, подключавший на улицу динамик, словно был олицетворением власти, чтобы народ знал о проходивших в стране праздниках. И чересчур горластый динамик предавал нашему двору некое официальное значение. Видимо отец это сознавал, что его несколько возвышало над остальными поселъчанами, а на его фоне, мы, его сыновья, тоже приобретали в глазах земляков значительный вес.

Хотя по своей натуре отец ни перед кем никогда не возносил себя, ему глубоко было чуждо чувство зазнайства. С людьми он как-то сходилась легко и со всеми ладил. Правда, за свою простоту и доступность, из-за неумения, где надо схитрить, над ним норовили подшучивать и посмеиваться только потому, что отец никому не давал отпора. Хотя в крутом подпитии, он, бывало, неожиданно взрывался на своих обидчиков, как это однажды произошло на день Победа.

Отец всегда на праздник надевал костюм с боевыми фронтовыми наградами и наградами ветерана войны. И как-то его завистливые сверстники, бесстыдным образом стали не по существу придирается, что якобы награды отец не заслужил на ратном поле, а снял с убитых в боях товарищей. Этот наглый, бесцеремонный и оскорбляющий достоинство наговор недругов сильно задевал отца-фронтовика за живое, отчего он стал неистово доказывать обидчикам, как и где он заслужил медали и ордена.

А что касалось нас, его детей, то мы никогда не сомневались, что он действительно честно заслужил боевые награды, исполнив с честью воинский долг. Причём я неоднократно слышал от отца, сколько лиха он хватанул на войне, в каких участвовал боевых операциях, служа в разведке, одна из которых завершилась захватом немецкого штаба со всеми секретными бумагами, а также пленением немецкого генерала, за что отец был награждён орденом Славы. Только жаль, что в этом повествовании, я не ставил цель рассказать обо всех боях и операциях, в каких довелось ему участвовать, но о чём идёт речь в моём большом романе «Страшные дни войны», который завершает цикл книг хроники народной жизни...

Ещё с военной поры отец привык носить гимнастёрку, он годами мог не расставаться со старыми вещами. У него был личный металлический шкаф для хранения всевозможного инструмента и электроматериалов. Никто посторонний в него не мог проникнуть, так как шкаф находился под неусыпной охраной замка. При всей своей рачительности, отец отличался педантичной аккуратностью, и где попало не оставлял свой инструмент. Все его вещи находились на отведенном им месте, и в шкафу всегда был идеальный порядок.

Свой велосипед, на котором он много лет ездил на работу до поздней осени, содержал в идеальной чистоте, а весь его механизм был отлажен, как часики. Нам было бесполезно про-

сидеть покататься, так как отец боялся, чтобы мы его не сломали. Впрочем, на его милость в трезвом виде мы никогда не рассчитывали.

Но совсем другое дело, когда он приезжал с работы выпившим, тогда отец становился безгранично добрым, и этим мы всегда пользовались, охваченные безудержной радостью, что теперь мы можем весь вечер кататься на велосипеде по очереди. Хотя плохо ещё держали равновесие, еле доставая до педалей, ерзая по раме, как альпинисты по скале. Но мы знали, что нам нельзя с него па-дать, так как могли согнуть руль или педаль; и когда это происходило, отец выходил из себя. В следующий раз можно было уже не просить велосипед, так как следовал категорический отказ...

Помню, был у нас старый механический патефон, заводившийся блестящей никелированной ручкой, с такими же металлическими застёжками на футляре. Бывало, заведешь его, как шарманку, и в трепетном ожидании поставишь головку звукоснимателя, похожую своей формой на крупную луковицу, на чёрный диск пластмассовой пластинки, и под баян или народные инструменты запоёт женский и мужской хор. Или под залиvistую гармонику выкрикивала частушки звонкоголосая Мария Мордасова, и были пластинки с песнями Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова. И опять-таки, без разрешения отца мы не могли притронуться к патефону, чтобы послушать музыку и песни, тогда ничего нам не говоривших певцов; в такой вечер я мог подолгу торчать возле патефона, не уступая его братьям под убедительным доводом отца, что я бережливей, чем они, что кто-то из них может его ненароком повредить и тогда нам его больше не видать, как собственных ушей. И они начинали верить, что лучше меня никто из них не может обращаться с патефоном. Мне нравилось сменять иголки в головке звукоснимателя, хранившиеся в округлой выдвинутой коробочке, встроенной на закругленной поверхности патефона в специальной ячейке, из которой она выходила лёгким нажатием пальца, напоминая собой раскрытый веер.

К моему безраздельному лидерству братья уже настолько привыкли, что нисколько, как попервости, на это не роптали. Но иногда вспыхивали ссоры из-за пластинок, которых у нас было довольно много – десятка три. И каждый норовил послушать ту, которая нравилась больше всего. В наш шумный, неуступчивый спор всегда вмешивалась мама, устанавливала очередность в прослушивании пластинок, чтобы мы придерживались справедливости.

Был у нас проигрыватель электрический, подключаемый к сети через радиоприёмник, которым мы стали пользоваться только значительно позже. Вся эта, теперь допотопная аппаратура, стояла в святом углу на тумбочке, где под самым потолком всё ещё висели иконы, которые мы позже с ними и отправим пылиться на чердак, как пережиток прошлого, под давлением господствующего тогда атеизма.

Итак, эту драгоценную для той поры аппаратуру, отец привёз в один прекрасный день из города, где её вместе с пластинками кто-то ему продал вполне по сносной цене. А до этого долгое время до начала «электрической эры» слушали колхозное радио из чёрной тарелки, висевшей на стене. И вот с появлением радиоприёмника, подключаемого к электросети, оно тотчас утратило своё былое значение и мы его сняли, во многих местах продырявленное нашими любопытствующими пальцами, которые мы совали всюду, куда не просят, за что и получали от бабушки и родителей многочисленные взбучки.

Но в этом больше отличались мы с Никиткой, тогда как Глебка никогда с нами в школе не участвовал, и вовсе не потому, что был неизменным любимцем бабушки, просто он вёл себя как умудрённый жизнью старичок. Глебушка помогал бабушке сворачивать самокрутки, сохранять свежие газеты от нашего варварского уничтожения на пилотки, самолёты и корабли, зашнуровывал ему туфли или парусиновые чуваки, облегчая однорукому человеку повседневные заботы, в то время как мы могли стащить у него табак по просьбе больших пацанов, за что нам тоже влетало.

К нашим проделкам, конечно, неумышленно, подсоединялся отец, когда включал громко радиоприёмник и не слышал, как дедушка выходил из себя из-за того, что отец не проявлял элементарного уважения к близким. А маме приходилось приструнивать своего невежественного мужа, проявлявшего невозмутимое спокойствие, когда дедушка просил отца убавить звук. А тот знай себе полеживал на кровати, положив ноги на спинку, словно его ничто не касалось.

Но когда дедушка пребывал в добродушном настроении, он тоже был не прочь послушать новости, чтобы при этом не столь громко звучал радиоприёмник, чем отец совершенно пренебрегал, не уважая тестя, который просил дочь, чтобы зять немедленно убавил звук. Маме тоже надоело горластый радиоприёмник, и она без предупреждения сама убавляла громкость. Но стоило любимцу отца умолкнуть, как он, словно ужаленный, вскакивал с кровати и с брашно набрасывался на маму, посмевающую сунуться в его владения. И тогда между родителями вспыхивала душераздирающая перебранка.

Я всегда поражался невежеству отца, напрочь лишённого чувства такта и уважения других членов семьи. Я целиком разделял стремление мамы образумить отца. Разве могут дети стать воспитанными, если в семье между родителями нет взаимопонимания. Ведь неэтичное поведение отца могло передаваться детям. И она разъясняла нам, как лучше всего вести себя, если рядом находятся другие люди, чтобы им не был причинён ни моральный, ни материальный, ни физический урон, в силу каких-то необдуманных действий. Но кто мог заранее предугадать, к чему может привести дурной поступок. Ведь мы сперва делаем, а потом только спохватываемся, что поступили скверно. Вот поэтому безалаберные поступки отца в какой-то мере влияли на наше воспитание отрицательно.

Мы, как губка, впитывали его привычки и пристрастия, даже сами того не подозревая. И, как ржавчиной, попавшей на металл, разъедал наши ещё не окрепшие души. Хотя я был не склонен подражать отцу, так как его манеры во мне всегда вызвали стойкое отвращение, и потому в своих поступках я руководствовался действиями мамы, потому как она была для меня непререкаемым авторитетом. Если она бранилась с отцом, я понимал, что он заслуживал справедливого порицания, а значит, ни в коем случае мне нельзя ему подражать. Поэтому на меня и старшего брата отец влиял своим поведением во многом лишь косвенно, чего, собственно, не скажешь о Никитке, которого притягивало к отцу, как металл к магниту. Он чаще, чем я, просил у него денег на школьные обеды. Впрочем, отец в свой черёд как бы потворствовал Никитке, потакая его страстям, он находил в нём как бы своё зеркальное отражение, что облегчало им понимать друг друга...

Одним словом, привязанность отца к радио сохранилась на протяжении всей его жизни. Он любил слушать новости, постановки, концерты, никогда не читавший ни книг, ни газет, и радио для него было единственным источником информации. И в значительной мере сокращало время для ознакомления с текущими событиями как в стране, так и за рубежом, для чего не обязательно было затрачивать энергию на чтение газет, не напрягать своё зрение, которое, кстати, у него было слабым с молодости. В последние годы жизни, отец не расставался с телефонным наушником, которым пользовался как минирадиом. После ночного дежурства в хозяйстве соседнего посёлка Верхний, приходя домой, он укладывался на диване, подкладывал под ухо наушник и слушал пока не засыпал.

Когда отца дома не было, наушник лежал на подоконнике, от которого тянулись два проводка. Один служил антенным контуром, крепившимся к оконному карнизу, державшему штору и гардину защипками. Второй тянулся к розетке, одно гнездо которой служило наушнику источником питания. И вот наушник остался лежать безмолвно на своем обычном месте после того, как отец скоропостижно умер, опившись, видно, некачественным самогонном. Но эту свою версию я изложил в романе «Чужой».

Тогда, только погостив у родителей со своей женой, после Нового года я был вызван телеграммой на похороны отца и видел, оставленный им на подоконнике наушник, который

как бы говорил, что он по-прежнему жив, только уехал по своим неотложным делам в город, куда раз в неделю ездил за пайковыми продуктами в магазин, который обслуживал ветеранов войны. И вот скоро он должен вернуться, впрочем, после обеда, и потом как обычно займёт своё прежнее место на диване.

Казалось, и впрямь наушник ожидал своего хозяина, и я со щемящей болью в сердце, с застывшими на глазах слезами, держал этот наушник в руках, не прикладывая к уху, точно опасался нарушить нечто священное, только по праву относящееся к отцу и наушнику...

Я не стал убирать его с подоконника, не захотел прерывать привычный ход вещей, как он сложился при хозяине. Тем более, в тот момент мне всё время казалось, вот сейчас распахнётся из коридора в хату дверь, щёлкнет знакомый с детства замочный ролик о металлическую планку створа, войдёт несколько валким шагом отец, поставит около печи свои туфли, как это он всегда проделывал, и с кружкой горячего чая в руке, только что пришедший из кухни, пройдёт не спеша к дивану, постоит, задумчиво отхлебнёт из неё горячей пахучей жидкости с блаженным удовлетворением, облегчённо вздохнёт, затем поставит кружку на окно, а следом возьмёт с него наушник, и удобно уляжется на старый диван-кровать, поскрипывающий пружинами и подъёмным механизмом, как расстроенное пианино...

Однако, зная теперь твёрдо, что отныне он этих, привычных движений уже больше никогда не проделает, не будет слушать по наушнику любимые новости и другие передачи, на душе у меня становилось неизменно больно и печально, что скорбь моя по нём продлится, наверное, вечно. И стоя в тупой неподвижности, сознавая это, я спрашивал: зачем смерть посмела прийти так непрошено рано? Ведь отец ещё хотел и надеялся жить до отведённого ему срока... Но, оказалось, он проморгал нелепую смерть, последовавшую, быть может, от плохого самогона, не рассчитавший свои возможности в преклонном возрасте. Жаль, он не задался вовремя вопросом, а стоит ли, не пора ли остановиться и оглядеться, что там было позади и что ожидает впереди после лишнего стакана? Нет, увы, этого не произошло, и беды нельзя было миновать, ведь русскому человеку всегда кажется, что ещё не всё выпил, ещё есть время в запасе. Но стрелки часов кто-то незримо перевёл...

И ещё какое-то время держал на ладони наушник, я снова погружался мысленно туда, где было наше детство, и был отец.

## 6. Первый порог знаний

В шестилетнем возрасте я уже сознавал, что существую, и тогда это переживалось мною по-своему таинственно и неповторимо. Я думал: где же я был до того, как обрёл физическую оболочку? И как бы я ни спрашивал у себя, никак не мог постичь: где же я обитал, прежде чем прийти в этот загадочный мир? Иногда мне казалось, что я существовал всегда, но только не знал, что действительно существую... Но в точности это было известно только Богу...

И всё равно хотелось верить своим представлениям о себе, что ты как будто бы не единойжды был на этом свете и с этим ощущением я жил дальше. Наибольшее это проявлялось, когда что-то в моей жизни происходило и мне казалось, что когда-то это же самое со мной уже случилось, но никак не мог вспомнить когда именно. И ещё острее представлялось, что с тобой рядом есть нечто такое, что тебе не дано постичь и оно напоминает о себе как бы дразнит, дескать, только попробуй узнать и тебе станет не интересно жить...

В те дни жаркого и сухого лета, когда мама водила Глебку в город проходить медкомиссию, в связи с этим он поневоле становился центром родительского внимания. А мы были как бы оставлены на второй план, словно на время всеми брошены на произвол судьбы, о чём мы с Никиткой, однако, вовсе не кручинились, не высказывали своих кровных обид. Да и были ли они, когда нам по-своему тоже было интересно взирать со стороны на Глебушку, особенно в тот день, когда мама купила ему новую форму, от которой исходил восхитительный запах фабричного сукна. До этого, наверное, кряду несколько дней мама уходила с ним в город, а мы, предоставленные сами себе, безмерно радовались свободе, убегали с друзьями в дальнюю лесополосу Соколовку разорять сорочинные гнёзда...

Помню, однажды брат нёс в руке кожаный портфель со всеми для него принадлежностями: пеналом, ручками, карандашами, букварем, помню, так же, как брат в первый раз надел школьную форму, сшитую из тёмно-синего сукна, состоявшую в то время из гимнастёрки с металлическими пуговицами и прямых широких брюк. Само собой разумеется, гимнастёрка подпоясывалась кожаным ремнём с никелированной бляхой. Венчала форму фуражка с кокардой и чёрные блестящие ботинки шли как бы дополнением. Словом, сама форма сидела на брате мешковато, поскольку мама покупала её с расчётом на вырост. Поэтому брюки ею были заведомо подшиты, правда, рукава гимнастёрки лишь подворачивались аккуратно. И брат в ней выглядел нескладным увальнем, что объяснялось материально стеснённым положением семьи. Не могли же нам родители каждый год покупать новую форму. Впрочем, так поступали все родители, и сверстники брата, которые с ним в тот год пошли в школу, тоже выглядели не лучше, то есть форма хоть сама по себе была новая, однако, сидела на первоклашках совершенно не подогнанной, как на огородном пугале...

Зато запах сукна во всех отношениях был очень приятен, он вызывал собой какую-то неизъяснимую до головокружения радость, а её нежный, бархатный ворс, как шерстка мышки вызывал созерцательное удовольствие.

Я гордился, что брат скоро пойдёт в школу, и оттого представлялся, чуть ли не взрослым, ставшим как будто на голову выше, и заметно отдалился от меня, хотя он был напроочь лишён какого-либо зазнайства, поскольку по-прежнему оставался застенчивым и тихим. Когда мама откровенно начинала им любоваться, одетым в новую форму, Глебушка как-то смущённо, одними уголками губ улыбался, и то сужал их, то несколько расширял, как будто что-то нашёптывал ими.

Ему, очевидно, тоже нравилось быть облачённым в школьную форму, но вслух это боялся высказать. Конечно, мы тогда не могли осознавать, каких усилий стоило маме скопить денег на форму, портфель и учебники старшему сыну. Конечно, без помощи дедушки Петра Тимофеевича тут не обошлось, он всегда вносил свои сбережения в общий семейный бюджет. Да

и как тут не помочь, ведь старший внук был его любимцем. И поддержка бабушки постоянно выручала из нужды...

Наша обстановка тогда ещё в новой хате была весьма и весьма скромной. Железные с мягкими сетками кровати, на фигурных спинках которых висели белые с выбитыми узорами занавески, большой чёрный сундук, в будни покрытый вишнёвой бархатной скатертью, а по праздникам – голубой, расписанной причудливыми рисунками и с длинной бахромой. У нас тогда пока ещё не было шифоньера, на который, однако, бабушка откладывал с пенсии деньги.

В простенке между окон, выходящими на улицу, стоял квадратной формы стол, на святой угол расположилась тумбочка, содержащая в себе личные принадлежности отца: документы, батарейки для карманного фонарика, в стеклянном пузырьке резиновый клей, бритвенные лезвия, прибор для бритья, отвёртки, пассатижи, напильник, молоток, железные коробочки из-под чая, в которых хранились мелкие сапожные гвоздики, шурупчики, гаечки, шайбочки, граверы. И даже маленькая иконка, разные лекарства. Словом, тумбочка для нас была недоступна, потому что закрывалась врезным замочком.

На подоконниках стояли горшочки с цветами, на тумбочке в большом горшке росла с крупными листьями роза. Но мама очень любила цветы, придававшие зимой горницам летний вид. В этой главе я вернулся в доэлектрическую пору, когда в посёлке только-только начали поговаривать об этом, и только весной приступили к делу.

В то время наша хата, как у многих, была покрыта чаканом, а старая, служившая сараем – соломой. За редким исключением по улице встречались добротные кирпичные дома, крытые железом или шифером. И другие хозяева уже начинали запасаться кирпичом, чтобы впоследствии построить большие с четырёхскатными крышами дома. Посёлок рос за счёт отделившихся от родственников молодых семей. К таким отделенцам принадлежали и наши дядя Влас и Митяй, которые каждый в своё время построили по хате на краю улицы. Дядя Влас совсем недавно вернулся из хутора Выселки, где прожил всего год у родственников жены. Теперь он жил на противоположной стороне улицы, тогда как дядя Митяй обосновался через три подворья от нашего двора пятью годами раньше своего брата.

Нам же пока о строительстве большого дома ещё нечего было и думать, поскольку надлежало построить летнюю кухню, что отец и предпринял, разломав часть старой хаты, саман которой был использован для кухни. Саман он клал на глиняном с добавкой песка растворе, окна и двери из-за нехватки материала получились маленькими. К кухне, стоявшей вдоль двора, чуть позже приделал курник из привезённых за бесценку половинок кирпича. Крыл он кухню сперва жердями, затем прибавал к ним доски, которые собирал где попало, потом обмазывал потолок глиной, а сверху накрыл толью и рубероидом. Я хорошо помню, как по жару мы с отцом ходили в лесополосу нарубить жердей, дух тонкоствольных свежесрубленных деревьев с запахами зелёных трав приятно возбуждал сознание и навсегда сохранился в моей памяти.

Я полюбил лето, как стал помнить себя, настолько сильно, что с болью и сожалением в душе расставался с каждым уходящим днём, не ожидая прихода зимы. Разве что, когда осень взяла разбег, и брат уже ходил в школу, тогда было так отраднo думать, что скоро придёт Новый год, самый лучший из всех праздников для детворы. Поэтому зима уже накрепко была связана в сознании с ёлкой, а значит, отец принесёт нам из города от Деда Мороза подарки, выдававшиеся ему на заводе специально для нас, его детей...

Брат уже мог довольно уверенно выводить в тетрадке буквы, складывать их в какие-то слова, и по слогам мог уже читать букварь. Только одно это обстоятельство возвышало его надо мной, и в моём представлении он казался для меня почти недоступным. Между нами исчезло равенство, он постигал грамоту, а я хотел понять: как ему она давалась? Когда он выполнял домашнее задание с помощью мамы, я старался быть рядом. И мне казалось, что эти принудительные занятия для брата были самым обременительными, которые отнимали у него свободу, и я безмерно ему сочувствовал. Ведь став учеником первого класса, Глебушка

был уже полностью подчинен установленному мамой распорядку занятий и отдыха. Он стал зависим от букваря, а не от улицы, как раньше. И навсегда расстался с дошкольной свободой, когда что хотел, то и делал, а теперь был неволен распоряжаться собой, как беззаботно могли делать мы с Никитой. И что такое школа, постигали на опыте брата, которому вместе с тем по-своему завидовали...

И вот после Нового года со своими снежными заносами зима уже катилась под гору, почему-то метели чаще всего случались по ночам. Бывало утром выйдешь на двор, а кругом глубокий снег и сугробы. И с каждым днём всё чаще и чаще уже думалось о приближении весны, а лето казалось таким далёким, что оно наступит ещё не скоро. Ведь мама однажды мне напомнила, что как только придёт лето, она начнёт водить меня в город для прохождения в поликлинике медкомиссии, ведь в этом году мне предстояло расстаться с младенчеством и тем самым вступить в новую пору детства и начать постигать грамоту. И таким образом я скоро стану в семье субъектом номер один, и всё своё внимание мама переключит только на меня. Естественно, это было весьма приятно сознавать...

Как известно, жизнь любой семьи состоит из разных мелочей быта, а также из привычек всех домочадцев. Но как раз это, из чего что складывалось наше тогдашнее бытие, я не могу восстановить в точности. Впрочем, моя главная цель состоит в отображении того, что тогда происходило в моей жизни и какие чувства отложилось в сознании о том или ином событии.

В тот год, когда мне предстояло пойти в школу, мы с мамой ходили в соседний хутор Левадский за направлением для прохождения в городе Новочеркасске медкомиссии. Побывав на приёме у участкового врача, получив от него нужную бумажку, мы пошли к книжному киоску, который стоял как раз напротив клуба, чтобы купить мне и брату нужные учебники. Впрочем, для начала, чтобы сильно не тратиться, мама хотела ограничиться покупкой пока одного портфеля, поскольку считала, что учебники мне перейдут от старшего брата, закончившего уже первый класс, его книги были ещё в приличном состоянии. Он вообще бережно относился ко всему, и Глебушку мама порой приводила мне в пример, чему я внимал ей беспрекословно. Но у брата учебники были новые далеко не все, поскольку в те годы так же, как и теперь дела с ними обстояли туго, и не всегда удавалось обеспечить ими учеников. И потому учебники приобретали то у кого-то с рук, то на толкучке.

Так что у Глебушки была новой лишь арифметика, тогда как букварь и родная речь взяты у тех, кто уже отучился. Поэтому как бы он их не берёг, некоторые страницы уже вылетали, что казалось, тряхни учебником – и он рассыплется. Вот поэтому, увидев в киоске портфель и новенькие учебники, я упросил маму купить хотя бы букварь. Брату же снова нашлась только арифметика, и нам на двоих взяли полсотни тетрадей в клетку. Всё это, не считая мелочевки, я нёс в портфеле сам, от которого исходили восхитительные запахи свежей бумаги, кожи, типографской краски, как-то сладостно пленявшие разум.

Лето у нас на юге, как всегда, стояло знойным, нещадно палило солнце, мы возвращались домой по пыльному просёлку, где-то на середине нашего пути мы повстречались с учительницей, которой предстояло меня учить. Она шла домой из нашего посёлка Киров в хутор Левадский. Учительницу звали Варварой Васильевной, о которой я уже был немало слышан от мамы, как о душевном, замечательном человеке. Она была достаточно высокая, симпатичная, поджарая женщина, с несколько суровыми чертами лица. Мне запомнились её внимательные пронизательные карие глаза под прямым лбом, с гладко зачёсанными к затылку светлорусыми с проседью волосами. От ярко бьющих лучей полуденного солнца, она щурила глаза и, чуть поставив набок голову, с интересом рассматривала меня, как своего будущего ученика.

С учительницей мы с мамой поздоровались первые, она ответила вежливым тоном.

– Значит, ты уже готов идти в школу? – спросила она и украдкой посмотрела на мой портфель.

– Да, – робко ответил я, стесняясь смотреть на Варвару Васильевну.

– А читать умеешь?

Я грустно опустил голову и с удручённым видом покачал отрицательно головой, я боялся, что узнав это, учительница во мне разочаруется. Но вопреки моему опасению, она вдруг улыбнулась, лицо её тепло просияло, глаза враз как-то оживились оттого, что я не умею читать, и ей вот выпадала возможность выучить меня изначальной грамоте.

– А учебники у тебя уже есть? – продолжала расспрашивать меня Варвара Васильевна.

И тут я быстро закивал, и в подтверждение этому, приподнял новенький портфель, горевший в лучах солнца пупырышками черной искусственной кожи.

– Ой, как же я его не заметила! – она как бы в досаде покачала головой и тепло улыбнулась, тут же переведя взгляд на маму, которая в свой черёд несколько смущённо улыбалась учительнице и посматривала на меня, со светящимся в её тёмных глазах умилением. К тому же мне казалось, что она хорошо знала учительницу, которая относилась к ней с уважением, и оттого я испытывал чувство гордости.

Что-то ещё расспросив и пожелав мне всего самого хорошего, мы вскоре расстались с моей будущей учительницей.

Я обернулся ей вслед, она шла степенно, слегка наклонив вперёд голову, словно думала, каким я буду учеником. У меня навсегда осталось такое чувство, что в тот день я встретил свою родственницу, которая до этого жила где-то далеко и скоро примет участие в моей судьбе.

Когда мы пришли домой, я рассказал старшему брату о встрече с Варварой Васильевной. Глебушка тоже, как и мама отзывался о ней довольно хорошо. Зато о своей учительнице Розе Спиридоновне он был далеко не лестного мнения, хотя сама мама называла её требовательной и равнодушной к тому, чему учила детей в школе. Но о ней подробней расскажет ниже, а пока, прежде чем пойти в школу, надо было в городе пройти медкомиссию.

И когда этот день настал, не успела мама объявить, что завтра идём в город, как по её оживленному лицу я уже определил, что отныне меня ждали новые испытания.

Пройти в поликлинике медкомиссию за один день было невозможно, чего стоило одно долгое выстаивание в очереди к врачам, к которым на прием ждали своего черед в основном такие же, как и я, будущие первоклассники из числа девочек и мальчиков. Врач выписывал направление на сдачу анализов, потом их надо было привозить, а потом ещё и ждать результата. Наверное, не одному дошкольнику прописывали лечение от глистов, а потом и повторно сдавать анализы, причём не только по части кишечных паразитов, но и мочу, кровь. И дня через два опять ехать за результатами анализов, которые просматривал врач.

Слава Богу, мне не назначали никакого лечения, помню, маме давали какие-то капсулы, которые принимал, кажется, до еды. На всю жизнь запомнил противный их привкус. Так что первая медкомиссия запомнилась навсегда ещё и тем, что специфический запах хлороформа, витавший в поликлинике, у меня вызывал тошнотворное чувство. Но я не помню, чтобы боялся врачей, которые проделывали со мной разные штуки: прослушивали, простукивали, заглядывали то в рот, то в уши, то в глаза.

Лишь хорошо запомнил одно, бывало, вот так простоишь к одному из врачей кряду несколько часов, и так устанешь, что уже ничему не рад, а тут ещё подводило желудок. И после постылой поликлиники первым долгом мы шли в столовую. Это было одним из самых приятных событий в городе тех памятных дней – прохождения медкомиссии, несмотря даже на то, что в столовой надо было тоже выстоять в очереди прежде, чем заполучить обед. А в зале столовой витали запахи вкусных яств, которые ещё сильнее обостряли чувство голода, и тем самым нагоняли аппетит...

После столовой, насытившись обедом из трёх блюд, почему-то клонило в сон. Но стоило выпить стакан или даже два холодной газировки, подкрашенной сладковатым сиропом, как сон и усталость враз снимало рукой. И потом мы заходили в промтоварные магазины, подбирали мне форму, и не проходили мимо книжного.

Хождение в город на медкомиссию заняло, наверное, больше недели. И в один из таких дней мама купила мне новенькую форму. А став её обладателем, я испытывал с восхищением несказанную гордость, что у меня появилась такая дорогая обновка. И отныне я не чаял, чтобы быстрее кончалось лето, и вот наступил тот самый день, когда дети идут в школу с букетами ярких цветов...

Словом, не передать тех чувств, испытанных мною в период подготовки к школе. И на задний план отступило то, как еще совсем недавно моё воображение занимала годовалая сестра, которая к тому времени уже уверенно ступала по земле и радовала нас, поскольку теперь я жаждал дожидаться, когда стану школьником, и этим важным событием для меня освещалась вся тогдашняя жизнь...

Я уже упоминал о том, как брата сковали домашние задания, которые ограничили ему время для игр. И потому, когда он стал школьником, я иногда ему сочувствовал, что теперь он не мог свободно гулять, как мы с Никиткой. Однако в полной мере я еще не задумывался над тем, что это же самое скоро ожидало и меня, как только переступлю школьный порог. Но это событие меня окрыляло и радовало, я искренно лелеял мысль об учебе, так как Глебушка уже свободно читал книги русских народных сказок, а я ещё нет. С одной стороны только одно это желание неудержимо меня подстёгивало овладеть грамотой, а с другой даже несколько обескураживало, что став учеником, на мои плечи тотчас лягут принудительные обязательства, навязываемые диктатом учительницы, которая станет проверять те знания, которые будет передавать мне. И я уже не буду как прежде так вольно распоряжаться своим временем, словом, не буду, как раньше, свободен и беспечен...

И всё-таки как бы там ни было, я с воодушевлением пошёл в школу на вторую уже встречу с моей первой учительницей Варварой Васильевной Лахно. Да и Глеба, перешедшего во второй класс, поджидало знакомство с новой учительницей. За неделю до начала занятий в школе, жившая в нашем посёлке его учительница Роза Спиридоновна, вдруг уехала со всей семьёй. А на её место была направлена новая Галина Акимовна. Если Роза Спиридоновна была женственна и красива, строга и изящна, то Галина Акимовна никогда не была замужем, так как природа обделила её женственностью. Во-первых, она говорила почти басом, во-вторых, грубые черты лица вполне соответствовали её голосу с северным говорком на «о». И сама её фигура, очень нескладная, только усугубляла общее впечатление. И, однако, несмотря на это, Галина Акимовна обладала воистину железной логикой убеждений, твёрдой волей. Хотя была нервной и вспыльчивой, может быть оттого, что её личная жизнь не сложилась.

По словам брата, она учила их хорошо, рассказывала материал доходчиво. Если бы природа не наделила её такой нескладной внешностью, она бы пользовалась среди учеников непрекаемым авторитетом. Но из-за того, что в ней было что-то мужское, некоторые её побаивались, а те, что были пошустрей, относились к ней неуважительно, что пагубно сказывалось на её настроении, и она часто срывалась, налетая с бранью на озорующего ученика, и с губ с продыхом слетали слова: «Так возьму голову и скручу!» Этой не совсем грамотной фразой (последнее слово «скручу» произносила с ударением на последнем слоге) она вызывала смех учеников...

Зато Варвара Васильевна была совершенной противоположностью Галине Акимовне, которой можно было только посочувствовать. Собственно, она была лет на пятнадцать моложе Варвары Васильевны, которой кажется, шёл тогда уже седьмой десяток. И, видимо, уже подумывала уходить из школы на отдых, её лицо было чуть вытянутое, миловидное, с прямым небольшим заострённым носом, спокойными и выразительными чертами, с пристальными круглыми умными глазами, с набрякшими веками, которые придавали ей усталость, и что говорило о вступлении в преклонный возраст.

Новую тему она всегда объясняла весьма спокойно и при этом редко повышала тон. Правда, это случалось лишь в тех ситуациях, когда ученики переставали её слушать. Тогда её

лицо приобретало достаточно суровый вид. Вот это её умение, в нужный момент сделаться строгой, придавало её миловидному, обаятельному лицу своеобразную суровость, которая как бы стала основной чертой.

Мои первые уроки в классе и саму учительницу я воспринимал благоговейно, очень старался выводить первые крючочки и палочки по образцам, написанным в тетрадах рукой Варвары Васильевны. Между прочим, в этом я пробовал подражать Глебушке, когда ровно год назад он пошёл в школу. Сперва эти упражнения мне несравненно нравились, хотя мои тогдашние первые опыты научиться самому писать желаемого результата не дали, что вскоре мне наскучили, и я без сожаления забросил их.

И вот теперь я был обязан каждый день снова упражняться, чтобы как можно старательней выводить в тетрадах палочки и крючочки. На первый взгляд, казалось бы, это делать было не столь трудно. Но рука быстро уставала нажимать карандаш, который, к несчастью, от чрезмерного нажима часто ломался, и надо было его суметь тонко заточить, в чём пока ещё мной не было приобретено необходимого навыка.

Нас, первоклашек, всего насчитывалось человек восемь, впрочем, в других старших классах было тоже не больше. Варвара Васильевна одновременно вела сразу два класса: первый и третий, а Галина Акимовна – второй и четвёртый. В каждом из четырёх классов начальной школы было по горстке учащихся.

В нашей небольшой школе, даже для учителей не было свободной комнаты, не говоря уже о хорошо оснащённых учебными пособиями классах, обставленных по углам застеклёнными громоздкими шкафами. В одном шкафу хранились какие-то приборы, географические карты, плакаты, копии картин русских художников. И разных величин и размеров колбы, пробирки, спиртовые горелки, компасы для проведения практических опытов, а сверху шкафа стоял большой глобус. В другом самом широком и объёмном шкафу вмещалась вся книжная наличность школьной библиотеки, на которую с первого класса я смотрел завистливо, когда старшие товарищи уже могли запросто читать, а значит, полноправно пользоваться книгами из этого заветного шкафа. Вот поэтому я горел неистребимым желанием, – как можно быстрее научиться читать, именно читать, поскольку об умении писать я думал тогда пока меньше.

Благо, алфавит я уже знал давно назубок, хотя на письме ещё неуверенно различал ту или иную букву. В семилетнем возрасте, наверное, как и каждому мальчишке, с первых дней занятий в школе ещё не столь легко втягиваться в распорядок уроков по отведённым для них предметам. Однако со временем я уже меньше переживал об утере личной свободы и всё больше набирался терпения, чтобы с восьми утра отсидеть все уроки. И как только они заканчивались, нас охватывала безудержная радость, отчего из школы мы вылетали подобно пробки из бутылки шампанского.

Конечно, эти чувства по-своему пережиты каждым человеком, но мало кто задумывается о начальной школе, которая знакомит со страной знаний. И последующее их усвоение зависит оттого, как ты глубоко постиг начальную программу обучения.

Помню, бывало, поглядываешь на ряды парт третьеклассников, и почему-то им завидуешь, что они уже хорошо умели читать и писать, да так быстро, что порой, наблюдая за проворным бегом их перьев по страницам тетрадей, я с тоской для себя отмечал, что мне, наверное, так никогда не освоить скорописание и скоропись. Мне очень жаль, что не удаётся передать полно все те волнения той поры, которые подчас доводили до отчаяния, а иногда и до слёз...

Но не менее любопытны были также мои первые ощущения восприятия девчонок. К примеру, третьеклассницы мне представлялись почти взрослыми. Я втайне ими любовался, так как вызывали неподдельное очарование одним тем, что в своих форменных платьицах, с белыми фартуками, и с завязанными в волосах белыми бантами они были похожи на порхающих по классу во время перемен, бабочек, дивных, чарующих глаз, окрасок. Хотя далеко не каждую девчонку я обожал одинаково. Может быть, одну-две или три, которые были вдобавок

прилежны в учёбе и приличны в общении с такими субъектами, как я. Мне вообще не нравились плохие манеры ребят и взрослых, но когда неприлично вели себя некоторые девчонки, я испытывал в них разочарование только оттого, что даже сами того не подозревали, они рождали о себе дурные толки...

Но на своих одноклассниц я ещё не смотрел с таким любованием, как на тех, что были постарше, и потому они казались умней и красивей. И может, поэтому я их сторонился, впрочем, даже сверстниц, с которыми долго не мог установить приятельские отношения. В классе со мной училась моя двоюродная сестра Вероника, (дочь моего дяди Митяя, среднего брата мамы), а также дальняя родственница по отцу Лида и её двоюродный брат Миша Волошин, отцы которых были родными братьями, а мой доводился им двоюродным. И все мы носили одну и ту же фамилию – Волошины.

Я отличался некоторой робостью и неуверенностью в свои возможности учиться лучше того, чем я учился. И ко всему прочему мне не нравилось выходить к доске, так как не хотел быть во внимании всего класса. И вместе с тем я обладал огромным упорством и трудолюбием в том деле, которое отвечало моим душевным склонностям и моим интересам. Но все мои тогдашние увлечения были не постоянными, а преходящими, временными, которые чередовались от частой смены настроений под влиянием среды и окружения. К этому я вернусь ниже, а пока все мои школьные и домашние занятия часто резко колебались в зависимости оттого, какое у меня было настроение. Попросту говоря, я не знал такое дело, которое бы у меня вызывало чувство поклонения, и я бы помимо воли к нему стремился. Как и каждый мальчишка, я находился в подсознательном поиске своих духовных запросов, которые станут проявляться, думал я, как только выучусь читать. Хотя постоянно об этом не думал, так как застенчивость объясняла мою скованность на уроках.

При ответах у доски или с места я вовремя не мог собраться с мыслями, и от этого ещё больше терялся. Проклятая неуверенность мешала мне прочитать наизусть выученное стихотворение, правило по русскому языку, объяснить решение задачи по математике. И стоило мне открыть рот, как я чувствовал, что на меня уставились все одноклассники, словно в ожидании какого-то дива и мой язык деревенел. Правда, не только от этого, но ещё и оттого, что я боялся услышать свой писклявый негромкий голос, который мог просто всем не понравиться и вызывать робкой интонацией смех одноклассников. Особенно я боялся поддаться растерянности, смех девчонок действовал на меня убийственным образом, что только усиливало и укрепляло мои недостатки.

Но в таких случаях мне на помощь всегда приходила Варвара Васильевна, которая ко всем моим нюансам переживаний относилась с исключительным вниманием. Её спокойный, полный мудрости взгляд и приятный голос меня неизменно подбадривал, вселял уверенность и помогал собраться с мыслями, как умелый психолог. И тогда я вёл себя несколько смелей, доставляя учительнице удовольствие от того, что она умела своевременно подобрать ключ к учащемуся. Особенно наглядно это проявлялось в тех случаях, когда чутье ей подсказывало, что я знаю материал, но скованный робостью, был не в силах проронить ни слова...

## 7. Мгновения детства

Для меня сплошным мучением являлось пробуждение по утрам, чтобы позавтракав, отправиться на занятия в школу.

Почему-то в нашей семье было не принято ложиться рано спать. Если родители ещё не шли ко сну, то и мы, их дети, играли допоздна в свои бесконечные игры. Обыкновенно отец, полёживая с вечера на кровати, слушал радиоприёмник, в то время как мама была ещё занята какой-нибудь домашней работой. Она то ли стирала, то ли гладила свежее высушенное бельё или к нашей школьной форме подшивала воротнички, то ли замешивала на выпечку хлеба тесто в квашне. Правда, сестрица Надя была ещё очень маленькая, поэтому её мама укладывала спать раньше всех, и предупреждала нас, чтобы мы не шумели.

Дедушка уходил в ночное дежурство охранять колхозные объекты и часто приносил нам оттуда пустые спичечные коробки. Из них мы делали поезда, железную дорогу и представляли, что едем в какой-нибудь город или страну...

Мы с братом Глебушкой взяли за правило учить уроки с вечера, а рано утром мама заставляла повторить задание на свежую голову. Однако утреннее пробуждение мне давалось с большим трудом, я еле-еле разлеплял глаза, которые тут же непроизвольно закрывались, и я чувствовал себя донельзя не выспавшимся и усталым, словно накануне днём хорошо физически поработал. Поэтому повтор уроков на свежую голову вызывал у меня недоумение, так как хоть я и пробудился, но моя голова ещё спала.

Разумеется, когда мама будила меня и старшего брата в школу, всякий раз она безудержно нервничала и с болью в сердце выговаривала нам, чтобы вечером допоздна мы больше не заигрывались. И давала себе зарок загонять нас домой с улицы как можно раньше, что, впрочем, неукоснительно не исполняла, занятая по горло домашней работой. Но когда ей это удавалось, мы придумывали в хате для себя какие-нибудь ещё забавы, поскольку на ночь глядя у нас почему-то разыгрывались буйные фантазии. Время за играми пролетало незаметно, мы снова ложились поздно, отчего утром нас опять не добудисься. Помню, после мучительных побудок я обещал маме, что скоро придумаю себе распорядок дня и буду ему неукоснительно придерживаться. Но это было трудно сделать, и вовсе не потому, что в то время в обиходе не сложилось понятия биологических часов, которыми наделён каждый человек. Поэтому к чему себя приучил, к чему ты от рождения склонен, то это и образует твой характер и потому трудно поддаётся подчинению тому, что чуждо его природе и несвойственно ему.

Собираясь утром в школу, я всегда завидовал Никитке, которому не надо было ещё никуда спешить. И он безмятежно спал в тёплой постели, в то время как нам с Глебушкой скоро идти через всю улицу в школу, стоявшую по соседству с клубом на обширной поляне, обсаженных тополями.

С первого дня мама приучила меня по приходу из школы переодеваться в домашнюю одежду и аккуратно развешивать на спинке стула форму. Эта привычка скоро вошла в мою плоть и кровь, став второй натурой. Я раздевался с педантичной последовательностью. Сначала тщательно расправлял брючки, складывая их стрелка к стрелке, потом руками разглаживал гимнастёрку по спинке стула, чтобы не было складок, пыли и соринки. И, разумеется, вовремя заботился о том, чтобы все мои школьные вещи были хорошо отутюжены.

К аккуратности и чистоте меня приучала, конечно, мама. Но я и сам был противником неряшливости, так как природа заложила к ней отвращение. Хотя к чужой неряшливости я относился вполне терпимо и деликатно, но если это касалось брата Никитки, то я старался разъяснить ему, что перед тем, как пойти в школу, ему надо бы избавиться от дурных привычек.

Физически я рос весьма слабым и болезненным, часто поддавался душевным переживаниям, связанным в основном не успехами в учёбе, ссорами родителей, оскорблениями недругов. Бывали моменты, когда нападали хандра, неудовлетворённость, как неожиданная простуда, что явно свидетельствовало о нарушенной гармонии души и тела.

Я полагаю, что если бы я был непременно физически крепок и вынослив, то несомненно обладал бы здоровым духом. Однако вопреки этим существенным недостаткам мне было не занимать силу воли и терпения для достижения поставленной цели. Если чем я начинал увлекаться, то всерьёз и надолго. Так, поставив себе цель выучиться читать, я налегал на букварь самостоятельно, и уже складывал первые слова, чтобы непременно заполучить книжку из школьной библиотеки, в чём мне хотелось соревноваться с одноклассниками, и ни в чём не отставать от старших товарищем и приблизиться к брату. Впрочем, в ту пору я был ещё весьма далёк от таких высоких понятий, как честолюбие. Зато во мне преобладало желание, замешанное на банальной зависти, толкавшее меня к выводу: почему другие берут читать книги из библиотек (хоть они старше меня), тогда как я – нет?

К моему огорчению или несчастью, природой во мне был заложен большой недостаток: я не умел ещё заводить себе друзей. Хотя во многом это объяснялось тем, что я сам ни к кому не тянулся, считая себя скучным и неинтересным субъектом, недостойным ничьей дружбы. Особенно я не мог навязываться к тем ребятам, который уже считались закадычными друзьями, которые сближались на обоюдовыгодном интересе. Один при письме не допускал грамматических ошибок, другой хорошо считал арифметические примеры.

Так в моём классе такую дружбу водили мои тёзки, их так же, как меня звали Мишками. Между прочим, один был по отцу моим дальним родственником, и относился ко мне соответственно дальнему родству. Но я ревновал его к другу Мишке Самоедову. Они жили почти по соседству – черед два двора и, разумеется, с первого дня сидели за одной партой, в то время как я – с противным Борькой Рыковым впереди них, который ненавидел меня как своего напарника по парте.

Надо сказать, в классе я был неприглядным, самым маленьким, наверное, поэтому надо мной норовили посмеяться как сидевшие позади меня два неразлучных друга, так и мой сосед Рыков, он душой тянулся к ним, отличаясь, впрочем, нравом подлизы, холуя и задиры, когда заручался от кого-либо физической поддержкой. Однако мои тёзки не уважали его не только за это, но и за то, что он был сыном не из переселенцев, каких в посёлке было большинство, а казака из станицы, многие жители которой в войну служили у немцев и с ними же ушли при отступлении.

О себе же мои тёзки были самого высокого мнения. Хотя учились неравноценно, например, мой родственник значительно опережал в учёбе по всем предметам своего друга Самоедова. Я же в свой черёд далеко опережал своего соседа по парте, который во всём был неряшлив; все его тетрадки и учебники и он сам были вечно перепачканы чернилами. И вместе с тем я и мой родственник М.В. учились почти на равных. Разве что, может быть, он посильней меня разбирался в арифметике. Зато я опережал его заметно по скорочтению. В погоне за знаниями (позволю себе так выразиться) между нами шло этакое негласное соревнование.

На отлично и хорошо из пяти наших девчонок училось только три. Это была моя двоюродная сестра Вероника, которая отличалась достаточно самолюбивым и гордым характером; она во всём показывала себя с самой лучшей стороны, впрочем, также не лишённая честолюбия и Лида Волошина, с которой за одной партой сидела моя двоюродная сестра, к ним можно отнести ещё и Любку Крунову, весьма вредную, капризную, тяготеющую к заносчивости, девчонку. О двух других, которые, по сути, ничем примечательным не отличались, мне, по существу, сказать нечего, поскольку и та и другая учились посредственно. И чисто внешне, одного роста, они тоже почти ничем не выделялись, лишь исключительно поведением. Если Верка Клинова могла вспылить и зашибить любого, кто из мальчишек, заигрывая, больно задевал её, то Верка

Стёкина тихонравная, вся погружённая в себя, несмелая, когда объясняла у доски домашние задания или отвечала на дополнительные вопросы учительницы, в её серых глазах поблескивала какая-то лихорадочная настороженность: «Зачем вы меня это спрашиваете?» – читалось в её взгляде, что казалось, она сейчас от обиды и досады расплачется. Впрочем, она стеснялась, что у неё под глазами вечно выскакивало много веснушек, которые, казалось, и были единственным источником её частых огорчений, впрочем, не только во время стояния у доски.

Разделение на отличников, хорошистов и неуспевающих начиналось с первого класса, и вследствие этого они начинают проявлять такие черты, как спесь, чванство, зазнайство, тщеславие. Правда, не в равной степени, а в зависимости от природных задатков каждого. Кому-то свойственно быть более тщеславным, но менее чванливым, кому-то более спесивым, но менее зазнающимся, и чем больше в человеке гордости, тем он непомерно высокомерен и, пожалуй, так до бесконечности...

Одним словом, уже с первого класса формируются межличностные и коллективистские отношения, что закладывает основу какими стать им в будущем. Что же касается меня, то в равной мере я тяготел и не тяготел к коллективу. Это объяснялось тем, что больше всего я хотел быть независимым, жить как бы сам по себе. Однако я ещё не знал классического постулата, что находиться в коллективе и быть от него свободным, в сущности, никак нельзя. К тому же в каждом коллективе существуют негласные или обговоренные правила поведения или неписанные законы, выработанные всей историей человека.

Я же в какой-то степени начал ими пренебрегать с первого класса. Конечно, не думаю, что в этом отклонении сказывалось моё неполное домашнее воспитание. Просто я был донельзя робким и стеснительным, а это мешало проявлять себя среди одноклассников с лучшей стороны. Однако заботливо поддерживаемый Варварой Васильевной я мало-помалу преодолевал свои недостатки и стал даже участвовать в школьном новогоднем представлении, поскольку в моей жизни оно было первым, которое мне очень понравилось...

В ту пору в нашем посёлке телевидение ещё не было распространено так широко, как это начнётся значительно позже. А тогда два-три, от силы четыре двора, могли похвастаться вознесёнными над крышами домов телевизионными антеннами. И к обладателям телевизоров ходили их родственники. Но даже и они бывали на детских воскресных киносеансах, на которые по-прежнему собиралась вся ребятня, и ждала кино, как настоящего праздника, о чём раньше я уже рассказывал.

Ещё до школы я серьёзно полагал, что кино – это вовсе не слепок с жизни, но есть вполне реальная жизнь, перенесенная на экран, что это вовсе не артисты играют роли тех или иных существовавших людей в действительности, а они сами плоть от плоти являют перед нами в развитии свои судьбы. Пожалуй, точно так же я безоговорочно верил и в то, как на новогоднем представлении под дружные единые возгласы ребятни, появлялся с некоторой задержкой Дед Мороз, что он тоже настоящий, его вовсе никто не играет, он взаправду приехал из северной сказочной страны, причём где-то истинно существовавшей, чтобы раздать ребятам подарки и поздравить с Новым годом.

И чтобы досконально убедиться в этом чудесном самообмане, я со скрупулёзной придирчивостью рассматривал его белоснежную длинную бороду, вившуюся пышной куделью, удостоверяясь в её бутафорском или подлинном происхождении. Но мне почему-то хотелось пребывать в самообмане, признать её подлинность, а также сказочно расшитый, подвязанный красным кушаком, кафтан, увесистый, солидный посох с большим набалдашником, и самые что ни на есть настоящие валенки, с закрученными сверху носками, в общем, как будто всё говорило о Деде Морозе, что он якобы в самом деле приехал из далёкого-далека специально к нам, ребятне, на ёлку.

Помню, как был я поражён разочарованием, когда всё-таки распознал, что Дед Мороз телесно похож на людей, так как разглядел, что-то подозрительно свежо выглядела кожа его

лица, которую искусно скрывала молодая щетинистая поросль, и мелькала гладкая без морщинок шея под длинной пышной белой бородой. А ведь должна быть старческая и дряблая.

Но удивительно, что это разоблачение фальшивого Деда Мороза отнюдь не вносило в сознание сумятицу на тот счёт, что Дед Мороз всего-навсего не Дед Мороз, а обыкновенный, только наряженный под такового, человек. И всё равно хотелось верить в сказку, о чём полное понимание придёт в старших начальных классах. А пока я верил в придуманную для нас учительницей новогоднюю сказку в настоящего Деда Мороза...

Я уходил в школу чуть позже брата, хотя чаще всего мы шли в школу вместе. Зима в тот год выдалась для наших южных краёв необычайно холодной и снежной, под заборами и плетнями дворов возвышались островерхими гребешками, как из белого песка, сугробы. Сильный ветер беспрерывно гнал по снежному насту сухую извилистую, словно крахмальную, позёмку. Тоскливо и одиноко раскачивались сухим морозным шелестением голые ветки деревьев, и на холодном пронизывающем ветру сиротливо колебались былинки сухостоя по буграм балки, занесённой глубокими снегами. На востоке из морозного серо-белого полога с фиолетовым оттенком, вставало ещё сонное, подслеповатое солнце, преодолев мутную, дымовую от мороза пелену небосклона, оно тотчас ярко заиграло на снегу ослепительными искрами снежинок, как мелко нарезанной узорной фольгой.

Я всегда вышагивал в школу не спеша, вытаскивал обутые в валенки ноги из глубокой, ещё не наезженной снежной целины, стелившейся вдоль всей улицы пушистым высоким покровом; и как всегда любовался покрытыми толстым пушистым снегом нашими сельскими окрестностями. И я желал только одного: чтобы зима впредь больше не меняла, присущей ей белой окраски, оставаясь на одной поре в своём меховом парчовом убранстве до самого прихода весны, которой я начинал грезить буквально по окончании зимних каникул, проводимых, разумеется, днями напролёт на катке в балке.

Правда, в ту пору пруда ещё не было, и мы катались с бугра на самодельных деревянных или с металлическими полозьями санках, на которые могли усаживаться несколько человек. Счастливчиками были лишь те, кто обладал лёгкими, настоящими, купленными в магазинах санками с разноцветными на сиденье планками, причём служившими как бы неким мериллом достатка, и поводом позазнаться ими перед теми, у кого были самодельные и намного тяжелее и грубей магазинных.

Противоположный бугор балки намного круче и разгонистей нашей стороны, и часто кишел звонкоголосой детворой, особенно перед сумерками, когда солнце только что село, по небосводу разлились лиловые, розово-алые отблески морозного заката. А снег неотвратимо начинает синеть, кругом стоит безветрие, плавными столбами из труб хат вверх поднимаются дымы то там, то тут раздаётся лай собак. В морозном ядреном воздухе хорошо слышны переговаривающиеся голоса мужиков и баб. А бугор, отполированный детворой тем часом знай себе неумолчно звенит голосами ребятни. Правда, с безудержным наплывом сумерек, кто-то уже подумывал уходить с катка домой. И вот отдельные крошечные фигурки наших товарищей отделяются в усталых позах от ватаги детей и удаляются восвояси...

Я и братья приходили домой почти всегда уже затемно, в задубелых от лютого мороза валенках и рукавицах, с красными, как спелая мякоть арбуза, щеками. И еле таща за собой тяжёлые, сваренные отцом на заводе из тонких железных трубок, санки.

В такие минуты, оставив все силы на катке, ни о чём неохота было думать, только бы скорее поест и спать, спать. Однако, мысль о том, что завтра после каникул идти уже в школу, наводило уныние и тоску. Зато будет приятно вспоминать проведённые на катке каникулы, с которыми так не хотелось расставаться, что никогда не возникало мысли подгонять их бег, напротив, было одно заветное желание, чтобы эти дни продолжались бесконечно... Или просто оставалось запастись терпением и ждать весенних каникул.

## 8. Сельские будни

Наверное, ближе к весне, когда морозы стали отпускать, по нашей улице ездил колхозный трактор с прицепленным к нему лафетом, и, снаряжённые для этого мужики, собирали по дворам мешки с зерном, у всех желающих, чтобы его отвезти на мельницу на помол.

В наших краях к концу февраля зима уже заметно сдаёт свои позиции, а в тот год она продержалась на редкость устойчиво, с высокими сугробами и морозами. Однако на подступах к весне в солнечную погоду снег подтаивал, и даже было слышно, как под настом и ледком журчали ручейки талых вод; и отнюдь не сильный морозец на солнечном пригреве в безветрие уже почти не ощущался.

Порой катаешься в такой день с бугра на санках и так распаришься в стареньком для улицы пальто, что уже не хочется быть на катке долго, так как под лучами яркого солнца, душа начинает петь, предчувствуя наступающее весеннее тепло. И довольно весёлый весенний напев резвой капли с крыш надворных строений, напоминал как бы о смене времён года. Вот поэтому трактор тащил отнюдь не сани, на каких подвозили по глубокому снегу от дальних скирд сено или солому, а лафет, поскольку к тому времени разъезженная дорога за день на солнце оттаивала до самой земли и чернела глубокими колеями.

Итак, собранное в мешках зерно с дворов, увозилось для помола на муку, которая к концу зимы у многих хозяев уже кончалась. А потом, примерно через неделю, убелённые мучной пылью, мужики, развозили по дворам мешки с мукой и отрубями, запах которой вперемешку с запахом солярки, вызывали в душе какое-то странное таинственное волнение. А сами мужики в фуфайках, в шапках-ушанках, в кирзовых сапогах или валенках с галошами, хоть были хорошо нам знакомы, и вместе с тем представлялись некими загадочными существами...

Помню, как они вносили на плечах мешки с мукой в коридор, где тогда стоял наш мучной ларь, закрываемый плотной крышкой на петлях. Пока мука определялась к месту, тем временем мама выставляла на стол в спешке закуску, соленья, жареную на ужин картошку с бараниной.

Дедушка, Пётр Тимофеевич, со степенной деловитостью выставлял на стол бутылку водки, заготовленную им для такого случая заранее, чтобы угостить ею, сделавших такое большое для семьи дело, мужиков, согласившихся на это подношение с превеликим удовольствием. За всю свою сознательную жизнь, я ни разу не был свидетелем, чтобы он напился до потери сознания. Но зато в таком виде часто видывал отца, пристрастившегося к спиртному довольно рано, по его же свидетельству, где он родился и вырос в уральской деревне, уже начинали пить с раннего возраста...

Дедушка же выпивал одну, от силы две стопки водки, да и то лишь в необходимых для этого случаях по праздникам или когда приходили гости, его же сыновья с жёнами. А в основном только знал дела семьи, посильные о ней свои заботы, работавшего в последние годы в колхозе сторожем. Хотя до войны и после пас коров, а когда завели овец, он угонял их в займище. Иной другой работы он не мог выполнять, так как был однорук, став инвалидом в годы войны, он работал на одной из шахт в Кемеровской области, при обвале горной породы ему перебило чёрной глыбой руку, которую пришлось отнять. По тому времени дедушка получал мизерную пенсию инвалида и одновременно по старости. И по своей хозяйской рачительности, для непредвиденных случаев, он норовил откладывать деньги на чёрный день.

Иногда дедушка брал нас, своих внуков, с собой в ночь на дежурство не потому, что ему одному было боязливо находиться на охраняемом объекте, а исключительно по той причине, что мы напрашивались сами. Особенно с субботы на воскресенье, когда не надо идти в школу. О пребывании с дедушкой на дежурстве, в сознание запало смутное впечатление, будто за тёмным окном, полным загадок и звуков, шорохов и теней, кто-то притаился и ждёт дедушку, но я

был уверен, что он справится даже с одной рукой. И вот ночью, проводимой, по детским меркам, достаточно далеко от дома, сидя в дежурной комнате на жесткой металлической кровати, застланной овчинной дерюжкой, я робко глядел в тёмное окно, на очертания длинных сараев свинарника, сложенных из жёлтого пиленого ракушечника.

Мне казалось, что дедушка исполнял важное задание по охране колхозных свиней и я тоже причастен к этому. Свинарник стоял в степи, среди полей, которые окаймляли лесополосы, одна из которых подходила к сараям почти вплотную, тем самым, ограждая их от северного ветра. Зато другая, основная их часть стояла на окраине глубокой, зиявшей, как пропасть, балки, увитой по дну и склонам плотными зарослями терновника, шиповника и боярышника. И до посёлка отсюда было километра два, правда, если идти напрямую через поле и того меньше.

Однако хорошо смотреть на окрестности близ свинарника белым днём, тогда как ночью как бы там себя не уговаривал и не внушал, что ты смел, и никого не боишься, тем не менее кроме этих заверений, находясь в кромешной темноте, к сердцу подступал страх жуткими щупальцами и держал меня всего какое-то время в своих цепких объятиях. Но вот дедушка в дежурке зажёт керосиновую лампу, и её причудливый отблеск выхватывал воронёную сталь, висевшего на стене двуствольного ружья, один вид которого несколько отгонял страх, отчего душа наполнялась уверенностью в то, что всё будет хорошо. А степенная сосредоточенная возня дедушки у печи-буржуйки, разогревавшего на ней чайник, пламя из которой какими-то чарующими силами тоже в свой черёд успокаивали, что в тёплом помещении тебе ничего не может угрожать. А чёрная за окном темень, продолжая толпиться и колыхаться, была совершено побоку. Да и страха, испытанного с первых минут наступления темноты, я больше не ощущал, ещё, наверное, по той причине, что тогда я уже точно знал – в наших краях волки не водились, которыми иногда нас попугивали родители, упреждая, чтобы не отлучались далеко от посёлка.

Даже вообразив какую-то мнимую опасность, при этом глядя на висевшее на стене без надобности ружьё, я знал, что дедушка им всё равно не воспользуется, поскольку не мог представить его охотником, убивающим зверя, в силу прочно сложившегося о нём мнения, как неспособном причинить зла как природе, так и человеку. Причём я сам побаивался брать ружьё в руки. Хотя у меня даже не возникло такого острого желания. Просто я уже тогда понимал, что ружьё – это вовсе не забава для детей, при неосторожном с ним обращении оно поражает насмерть.

Когда подходил час обхода охраняемых объектов, дедушка закрывал меня в дежурке на замок и уходил совершать вменённые ему обязанности сторожа, причём без ружья. И тогда ко мне на время возвращался прежний страх, но теперь лишь с той разницей, что я опасался не за себя, а за дедушку. Трудно передать те давно пережитые ощущения, как за время ожидания дедушки я беспокоился за его жизнь, чтобы никто на него не напал. За долгий осенний вечер на такие обходы дедушка уходил не раз, а потом я уже ничего не помнил, так как засыпал. А пробуждался от света ясного раннего утра. Солнце вставало как-то не спеша, окрашивая багрянцем весь небосвод. Перед тем как идти домой, дедушка повёл меня через лесополосу, по уже убранному полю кукурузы, на бахчу, где ещё ранней осенью продолжали убирать арбузы, дыни, от которых исходил медоточивый аромат.

Мы вполне по-свойски подошли к большому, как шатёр, соломенному шалашу, возле которого на деревянном ящике восседал малорослый, кряжистого телосложения, ряболицый, с круглыми малоподвижными тёмными глазами дядька Паня – наш поселковый сторож бахчи. Дедушка добродушно, скромно улыбаясь, поздоровался с мужиком, покуривавшим папиросу. На торчавшей, при входе в шалаш, рогатине, висело его одноствольное ружьё, а неподалёку от шалаша, поскольку в сентябре ночи выдавались прохладными, догорал, вернее, уже дотлевал костерок и от него исходило запахом тёплой золы. Утром стылая свежесть воздуха даже

вышибала дрожь, и потому невольно я приблизился к остро пахнувшей горячей золе. Пахло спелыми арбузами и медовыми дынями. Сторож весьма почтительно откликнулся на просьбу дедушки, которого, видимо, уважал, угостить его внука арбузом, таким красным и сладким, зато очень холодным после ночи. Добрый сторож подал мне большую скибку, еле умещавшуюся в моих руках, и я принялся есть так, словно сроду никогда не едал арбуз, с желанием утолить жажду, потому что очень хотел пить. Однако было прохладно, я ёжился, а когда поел арбуз, то от него меня подавно начала колошматить дрожь, как тропическая лихорадка.

На дорожку добрый дядька Паня дал нам два крупных арбуза, поэтому дедушке пришлось нести увесистые кавуны в сумке через плечо, придерживая её одной рукой...

\* \* \*

...После уроков в школе, переодевшись в домашнее, я любил заглядывать в сарай понаблюдать за коровой и овцами. Хотя это непростое любопытство было связано с тем, что в конце февраля, по подсчётам мамы, должна была отелиться корова, о чём она поговаривала последние дни, дескать, пора ей починать, подошёл уже срок отёла, а корова почему-то признаков никак не подаёт. Вот поэтому, заглядывая в сарай, где клубился пар от дыхания животных, и пахло навозом и сеном, мне чрезвычайно хотелось первым обнаружить, как корова будет начинать телиться. И затем с победным возгласом известить об этом маму.

Мне также очень нравилось стоять возле база с овцами, трогать их за длинную шерсть, а заодно подразнить как бы ненароком матёрого барана с закрученными спиралью ребристыми рогами. Однако это удовольствие выводило барана из себя и тогда он со всего разгона бил рогами в перегородку база, словно намеревался снести её, чтобы отплатить своему обидчику. После нескольких яростных ударов, баран вскидывал голову на меня и смотрел так, будто говорил: «Ну что, сопляк, видал, на что я в гневе способен, будешь ещё дразнить меня? Мало или ещё хочешь?» И баран тут же наклонив голову, мотал ею, демонстрируя силу своих закрученных рогов, а овцы тем временем перестали жевать сено и уставились на своего рассерженного предводителя, иные даже попятились и сбились в угол, точно давали барану место для состязания, смотрели на него в оторопи, мол, не пора ли остыть, неужели не видит, отрок решил просто подразнить его...

С приходом весны, а то и раньше, овцам тоже предстояло дать хозяевам потомство. Бывало, придёшь из школы в самом хорошем настроении оттого, что ярко светит солнце, нагоняя своим неудержимым теплом весенние ощущения, а дома застанешь бегающего по горнице белого крошечного ягненка. А на следующий день уже скачет коричневый наперегонки с белым. Однако в руки нам они не давались, неистово норовисто вырывались, взбрыкивали с подскоками, ударяя еще молочными копытцами об пол, и ретиво убегали в какой-нибудь недосыгаемый для нас укромный уголок, например под низкую кровать, куда можно было только заползти на животе, и оттуда потешно выглядывали, словно играли в прятки.

Черный кот, увидев диковинное, доселе невиданное для него существо, вздымал на загривке шерсть, как ёж иголки, при этом свирепо тараща огненные глаза, шипел, оскаливая красную пасть. Правда, вскоре он привыкал к новым постояльцам, которые на время потревожили его покой, и больше не обращал на них внимания, так как эти глупые существа никакой опасности для него не представляли. А на следующий день ягнят уносили к яркам, ставшим впервые матерями.

А бывало, что через несколько дней в хате вновь появлялась пара окатившихся ягнят. А такие столь важные события в канун тёплых весенних дней у меня вызывали почему-то поток безудержной радости. Появление молодых существ в преддверии обновления природы, было как бы знамением новых счастливых ожиданий. И наконец-то в начале марта отелилась корова,

телок которой кряду несколько дней тоже находился в хате, пока совсем не окреп и потом его также уносили в сооружённый для него в сарае закуток.

Разумеется, с приходом весны буквально на глазах всё преобразалось: земля покрывалась нежным зелёным пушком травы, на полях с нарастающей силой, после зимней спячки под снегом, оживали озимые, люди, животные и птицы неизменно радовались наступлению живительного, благодатного тепла.

Во дворах люди скалывали, сдалбливали, счищали остатки обледеневшего снега, куры вовсю гребли за сараем оттаявшую кучу навоза, от которой на солнце вился прозрачный дымок пара. Над бархатно вспаханной чернотой огородов посельчан колыхался нагретый солнцем воздух, точно вода в аквариуме, и от влажной земли белесыми, прозрачно-мутноватым дымком поднимался кверху парок.

Просыхали и укатывались машинами грунтовые дороги и просёлки. Ясным, солнечным утром я шагал в школу как-то нехотя, лениво, без настроения. Хотя весна вливала в молодой организм свежие живительные силы, пьяня своим пробуждением детское сознание; а так как я отличался особой впечатлительностью, на всё окружающее меня, я тотчас реагировал с неослабным вниманием. Меня интересовало буквально все: звонко чирикавшие воробьи, рядом со скворечником, зазеленевшая травка среди бурьяна, обросший мхом камень, из-под которого выползали насекомые, облепив его, греясь на тёплом благодатном солнышке, что невольно я задавался вопросом: как же эти красноватые с чёрными точками, козявки прозимовали холодную зиму под камнем? И трава каждой своей былинкой, проросшая из земли, и деревья с вздувшимися почками, а также моё воображение занимало солнце: отчего оно зимой греет значительно слабее, в то время как с приходом весны начинает припекать с каждым днем всё больше и больше, неужто некто там, на небе зимой спит и не подсыпает угля в жерло солнечной топки, а весной пробуждается и начинает что есть мочи кочегарить, подсыпать уголь. И вот оно воспламеняется, раскаляясь до безудержного состояния, обливает землю активной разогретой энергией, вследствие чего всё на ней пробуждается к жизни вновь.

Одним словом, с приходом весны уроки в школе и задания на дом, уже совершенно не шли на ум. Но я охотно заучивал стихотворения, посвященные весне... На переменах, на школьном дворе мы играли в догонялки, в третьего лишнего, во флажки... Бывало, прозвонит звонок на урок, а мы убегали со двора тотчас в класс, разгоряченные, мокрые от пота и возбужденные весенним торжеством солнца.

Обыкновенно последним был урок по труду и вот мы вскапывали в школьном саду свой участок земли, отведённый нам учительницей. Впрочем, сад делился на две равные части, проходившей посередине к крыльцу школы дорожкой, вымощенной кирпичом и густо обсаженной кустистыми петушками, начинавшими только что расцветать сине-фиолетовыми цветами, похожими своей формой на колокольчики, но больших размеров. И фруктовые деревья, и по краям дорожки кирпичи, поставленными зубчатыми переходами, подбеливались гашёной известью. Одни работали граблями, выгребая из-под деревьев палую листву в кучи, а затем её палили, другие, что постарше, вскапывали следом землю, третьи обрабатывали клумбы.

А потом счастливые бежали по домам, взмахивая кверху портфелями, далее подбрасывали их вверх и ловили на бегу. А дома не чаяли переодеться в домашнее, пообедать наскоро, совершенно не помышляя о приготовлении на завтра уроков, впрочем, перекладывая их на вечер и устремлялись на поляну, где собиралась почти со всего посёлка для игр вся разновозрастная детвора.

Счастливые мальчишки, обладатели велосипедов, катались по улице, где уже дорога выровнена трактором, тащившим за собой тяжеленный длинный швеллер на двух трассах с несколькими бородами, сбивавшими кочки и рытвины, образовавшиеся обыкновенно по весенней распутице и оставшиеся как бы в наследство еще с дождливой грязной осени.

Помню, где-то я раздобыл старые, без шин велосипедные колеса, а из-за отсутствия рамы, руля и сидения, я, наивная душа, вздумал смастерить велосипед из одних палок, скручивая их проволокой, взясь над своей конструкцией с одержимым упорством и усердием, беззаветно веря, что я должен во что бы то ни стало собрать самодельный велосипед. Не знаю, точно не помню, сколько же дней я был бесплодно занят своей безумной идеей, проистекавшей, конечно, от совершенного неведения того, что она, идея, была заведомо обречена на провал...

## 9. Крыло самолёта

Пока я «конструировал» во дворе велосипед, дедушка уже пригнал с пастбища овец. Они шумно вбегали в калитку и блеяли, потому что не наелись молодой травой, я постороился, давая им дорогу, а дедушка остановился надо мной, посмотрел, чем я занимаюсь, как-то задумчиво покачал головой. Наверное, он пожалел меня, что мне всё равно не удастся собрать велосипед. Лучше купить в магазине, чем бесполезно мучиться. Но мы у родителей не просили велосипеда, чтобы не отставать от товарищей. А ведь казалось, что стоило продать одну овцу. Хотя об этом я тогда не думал, поскольку не ведал о том, каким способом можно заработать денег, этой науке нас никто не учил. Но зато я хорошо помнил, что пасти овец нелёгкое дело, а дедушке это приходилось делать каждый день, да ещё дежурить в колхозе.

В дошкольном возрасте однажды мне представилась возможность на своей шкуре испытать, что такое пасти скотину в голой, опалённой солнцем степи. В то время отцу довольно редко выпадал случай примерить роль пастуха. Однако дедушке надо было срочно съездить в район по своим делам, поэтому он попросил отца присмотреть за овцами. Но если дедушка не брал в подпаски нас, своих внуков, то отец это сделал тотчас же, как ему представился такой случай.

Разумеется, в пять лет отроду я ещё не отлучался так далеко от дома. По крайней мере, этого я не помню. И то был, наверное, такой первый случай, когда я очутился так далеко от дома.

В пятилетнем возрасте уже приходит постепенное осознание себя и окружающего тебя мира, что ты живёшь с родителями, что ты человек, разумное существо. Но кроме тебя, живущего в семье, в хозяйстве есть низшие существа, за которыми требуется надлежащий уход и присмотр, которыми и были овцы...

Сначала мы их пасли по зелёным склонам балки сразу за посёлком, а затем пустили на скошенное поле люцерны, где овец долго не держали, поскольку отец опасался встречи с колхозным объездчиком. Поэтому мы погнали их по Вишнёвке (так называлась лесополоса, тянувшаяся вдоль поля), по другую сторону которой тянулась широким распадком балка, а её дно стелилось влажной и топкой долиной, сочившейся там и сям многочисленными холодными родниками. И на всём своём протяжении довольно обширная с пологими и крутыми буграми балка то спускалась, то неожиданно расширялась, представляя собой как вначале, нечто долины в большом и глубоком ущелье, складки которого густо поросли кустарниками боярышника и терновника. По самому дну балки тек ручей, в иных местах он растекался, обильно обросшим камышом, образуя по всему руслу зелёные кочки заболоченного местечка...

Вначале, где балка довольно развалистая с пологими и плавными склонами и ложбинками, наши овцы паслись хорошо. Зато по мере продвижения овец дальше, она значительно сужалась и делалась круче. И тут было больше грубой растительности, перемежающейся колючими кустарниками, поэтому сюда овец мы не допускали, поскольку начиналась опасная, почти отвесная, крутизна, и мы придерживали животных как бы на одном месте.

С утра погода выдалась солнечной и безветренной. День предвещал быть очень жарким, впрочем, уже с десяти часов в открытой степи неумогио выдерживать палящие лучи солнца. Но из глубины балки веяла освежающая прохлада. Скоро мне захотелось пить, Никитка считался выносливей меня, несмотря на то, что был на полтора года младше. Однако отец повел обоих в самую глубину с суглинистыми склонами, где из расщелины бил холодный родник. Сухими обветренными губами я с жадностью припал к струе прозрачной ледяной воды, по вкусу отличавшейся от домашней. Почему-то вода пахла клейкой глиной вперемежку с какой-то травой. Однако от воды нестерпимо больно ломило скулы и зубы. И от этого ее нельзя было много выпить, чтобы утолить до конца жажду. После некоторого перерыва прихо-

дилось снова и снова припадать к живительной влаге, заодно наблюдая как в воде изломанно, вспыхивающими яркими бликами отражалось околорассветное солнце.

А через полчаса, однако, пить захотелось с новой силой, но теперь к кринице надо было бежать на значительное расстояние, так как овцы аккуратно пощипывая траву, незаметно уводили нас все дальше от родника. А набранная в бутылки вода, частично была выпита отцом, остальной же он обливал голову и шею.

По склонам балки стелилась уже достаточно выгоревшая трава с какими-то упругими, как тонкая проволока, стеблями. Но овцам она отнюдь не нравилась, и они целенаправленно шли по склону к полю противоположной стороны балки, на котором росла кукуруза. И вот когда склон переходил в равнину, на поросшей бурьяном кромке лежало крыло самолёта, со слов отца, ещё со времён войны. Наверно, он привирал, так как в те годы его здесь в помине не было; отец приехал в наш посёлок вскоре после войны. На мои вопросы, почему оно тут оказалось, он ничего не ответил. Почему-то крыло самолёта обладало поистине какой-то притягательной магической силой, обострявшее воображение, что невольно я представлял, как в далёкие военные годы, тут разгорелся воздушный неравный бой. И наш самолёт, по-видимому, был сбит, а может, вышел подбитым после боя, но до базы не дотянул, спикировал и развалился? Конечно, бой произошёл, но не обязательно над Вишнёвкой, а где-то, к примеру, в займище или над хутором Левадским, и подбитый, на повреждённом двигателе летел в сторону нашего посёлка, а потом вспыхнул, объятый пламенем и дымом. Когда падал, прочертил по небу чёрный шлейф дыма, лётчик катапультировался, а самолёт врезался в землю, разлетевшись от взрыва на куски.

Потом основной корпус самолёта собрали и увезли, а часть крыла, отброшенного взрывной волной далеко от места падения самолёта, искать не стали. А через много лет оно лежало, как свидетель смертельного боя, да только ничего не скажет. Но значительно позже оно бесследно исчезло. Я вовсе не думаю, чтобы им воспользовались сборщики металлолома. Хотя почему бы и нет, ведь после крушения советской империи, наплодилось много сборщиков цветных металлов, а ценный дюраль был всегда в цене. Но в то время сбором металлолома занимались в основном пионеры, поэтому в степь их руки бы не дотянулись. Зато большие пацаны, которые подчас вели раскопки на месте боёв, могли достать черта из-под земли, а утащить какое-то крыло на перекрытие землянки, могли запросто, что вполне допускаю. Они устраивали в Вишнёвке так называемые партизанские штабы, взятые для подражания из кино о войне.

Спустя много лет, вспомнив о крыле самолёта, я поинтересовался у мамы боями, проходившими в наших местах в войну, и был ли сбит хоть один самолёт. Конечно, она не припомнила, чтобы в войну над Вишнёвкой был воздушный бой. Возможно и так, ведь надо ещё учесть, что почти всю войну она была дома, если не считать те периоды, когда её часто с другими девушками посылали рыть окопы, а немцы гоняли работать на аэродром. И только после изгнания врага её с другими девушками посылали добывать в Гуково из шахты уголь. А при артобстрелах и бомбёжках жители посёлка прятались в погребах и многих боёв могли просто не видеть.

Однако мама припомнила совершенно противоположный случай, когда, после изгнания немцев, они работали на колхозном поле. И вот как гром среди ясного неба, прямо на поле приземлился наш самолёт. Лётчик был ранен и дальше не мог вести боевую машину, в результате был вынужден совершить посадку на колхозном поле. А после оказания помощи за лётчиком вскоре приехали на грузовике военные и увезли разобранный по частям самолёт...

И вот в пятилетнем возрасте, до этого видя самолёт только в кино и на небе, вдруг увидел беспомощно лежащее в траве, обросшее бурьяном, крыло самолёта, один его вид как-то чарующе заворачивал детское сознание. Но вместе с тем возникало чувство неловкости за него,

оставленного в степи без надобности, принадлежащего исключительно праву парить в просторах неба, но не представлять собой лишь кусок металлолома.

Между тем овцы уводили нас от крыла дальше, увлекая по склону балки. В степи сильно и нестерпимо пахло разогретой солнцем горькой полынью. И горячие дуновения ветерка то и дело доносили нам её удушливо терпкий привкус. Вдыхать её дурманящий запах и другие травы по испепеляющей жаре, вместе с поднятой овцами пылью, было отвратительно, это тошнотворное ощущение сохранялось долго. И ко всему прочему как-то удушающе дурно пахла зелёная, но упругая на вид трава, похожая своим строением на клубок измятой тонкой изжелта-зелёной проволоки. Местами она росла довольно плотно, кустик к кустику, вытеснив собой все другие травы, почти сплошным дёрном, небольшими, впрочем, такими крохотными кустиками, без листиков, вместо которых на ней росли нечто вроде мелких ворсистых зелёных шариков, отрывавшихся довольно легко.

Казалось, с каждым часом солнце палило ещё нещадней, и от воздуха исходило беспощадное пекло. От этой жары я не находил себе места, притом мне думалось, что, наверное, уже целую вечность я нахожусь в безмолвной степи, жившей, между тем, своей особой жизнью. Даже в жару все птицы не поют в кустах боярышника и терновника и в лесополосе, не свистят по буграм суслики, прерывисто трещат цикады и замолкают кузнечики. Только где-то далеко-далеко на поле работают комбайн или трактор. А по просёлочным дорогам едут грузовики с новым урожаем.

Бывают моменты, когда тебе представляется, что время остановило свой неодолимый бег, как бы неподвижно застыло, и от нестерпимой усталости тебе больше нет ни до чего дела, так бы упал на землю и долго-долго не вставал. Мне ужасно хотелось домой, который находился настолько далеко, что я даже не ведал, в какой стороне он расположен. А до вечера ещё очень не скоро, ибо солнце едва-едва только перевалило за полдень, и уже о крыле самолёта думать забыл, где-то оставшемся лежать на бровке поля. При этом я уже не чаял попасть, как можно быстрее, домой и упрашивал отца повернуть овец домой. А он на это лишь махал рукой, мол, успеется, ещё не вечер, а то дед будет ругаться. И заставлял набраться терпения. Ведь ему тоже было несладко, и он без конца вздыхал, отдувался, фыркал, смахивал с лица пот ладонью.

Мой младший брат оказался выносливей и терпеливей меня. Он совсем не стонал, как я. И отец браваурным тоном ставил его мне в пример. Однако вопреки увещаниям отца, мне ничуть не было стыдно оттого, что не выдержал первое серьёзное испытание на самостоятельность. Но какой мог быть спрос с пятилетнего ребёнка, для которого понятие нравственного долга ещё отсутствует и он пока не в состоянии блюсти честь и достоинство и руководить собой. Хотя в то время я не помню, чтобы с усталостью я испытывал нечто подобие страха. Собственно, страх тут ни при чём, ведь над головой полыхало знойное августовское солнце, превратившее степь почти в безжизненную, окутанную, как коконом, безмолвной тишиной, которая собой нагоняла какую-то гнетущую скуку. А от неодолимой усталости наступало ощущение крайней безысходности. Вдобавок ещё захотелось есть, тогда отец раскричался, однако, дав мне помидор и кусок хлеба. Но утоление голода вовсе не остановило мальчика, загрезившего домом, и вот решительно завернув овец, отец быстро погнал их на противоположную сторону балки, по склону, затем к лесополосе как раз на дорогу, выводившую к посёлку. И тотчас велел мне идти, но никуда не сворачивать, не то собьюсь с пути и сгину в степи, что конечно, он преувеличивал, ведь вдали хорошо был виден посёлок.

Стоило мне остаться одному на пыльной дороге, как я испытал жуткое чувство брошенного на произвол судьбы. И споро шлепал сандалиями по бархатистой дорожной пыли, от которой прямо-таки исходил раскалённый жар, как от затухающего костра. Почему-то я уже больше не испытывал усталости, какая меня одолевала совсем недавно, поскольку были уже видны крайние хаты и это вселяло ощущение ложной гордости, что я иду домой из неведомой степной дали...

Разумеется, тогда у меня такого чувства не возникало, что я предал безвозвратно отца и брата, оставив их в степи с овцами. И у себя вовсе не спрашивал: а каково теперь им там вдвоём? Хотя от меня там польза была отнюдь не велика. Единственно, я почувствовал себя счастливым, освобождённым от непосильной обязанности быть овцам верным стражем.

Тем временем дорога пошла немного на подъём и меня опять неотступно преследовал неприятный сильный запах этой странной на вид кустистой травы, казавшейся как бы вовсе не живой, по сути, даже не нужной животным, как теперь и то крыло, превратившееся в металл.

Наконец с приятной усталостью я вошёл в посёлок. Самая крайняя хата моего дяди Власа. В калитке двора стояла тётка Клава. Она снисходительным, чуть насмешливым тоном поинтересовалась, откуда это я топаю один? И не дождавшись ответа, зазвала меня в гости. Я тотчас попросил напиться воды. Однако вместо неё, тётя спустилась в погреб и принесла мне кружку прохладного молока. А через балку хорошо был виден наш дом в окружении акаций, высаженных некогда вдоль забора за его чертой. При виде дома, родного подворья, у меня радостно забило сердце, удовлетворённого столь долгим отсутствием вне дома...

## Часть вторая

### 1. Вкус детской жизни

Если бы человеческая жизнь не уходила так быстро, если бы годы не утекали так стремительно, словно песок сквозь пальцы, если бы в своей неизменности всё оставалось навсегда на одной пороге, как оно есть, тогда бы, наверное, не нужна была человеку память. И всё-таки как донельзя грустно и прискорбно порой думалось, что всё не вечно, на что бы не упал глаз. И сама человеческая жизнь в сравнении с безграничным океаном Вселенной, как песчинка, гонимая в пустоту ветром времени.

И как бы не стонал о бренности и не вечности всего сущего и живого, тем не менее сама жизнь человека рано или поздно подводит его к последней черте и это происходит так неумолимо быстро, что даже на прожитое не успеешь оглянуться, а горизонт заката уже неотвратимо близок...

Десять лет назад я ещё очень редко заглядывал в детство, а теперь меня тянет туда с ярым упорством, точно первопроходца заманчивых новых необжитых земель.

Как я уже упоминал, первая моя школьная весна выдалась на редкость солнечной и тёплой, правда, иногда на один-два дня наступала пасмурная и дождливая погода. А потом снова безудержно сияло яркое молодое солнце. После уроков, как я говорил, возвращаться домой из школы было бесконечно радостно. Причём заданные учительницей на дом, не в полном объёме, уроки (понимавшей наше весеннее настроение), можно было перенести на вечер. А пока светлый день был ещё в полном разгаре, мы были одержимы единственным желанием: как бы быстрее смыться из дому, минуя домашнюю работу и устремиться на поляну – место наших детских игр...

Любили до азарта игру в ножичек: очерчивали круг на хорошо утоптанной влажной земле, делили его на две равные части. Каждый игрок стоял на своём клочке, жребием определяли, кому первому вонзать нож в землю и победитель жребия, нападал на территорию противника, вонзая в землю нож, отрезая её по куску после каждого попадания. Если нож не вонзался – падал, тогда наступала очередь противнику переходить в наступление, освобождая свою занятую территорию и потом посягая на его половину. Победителем считался тот, кто сумеет захватить всю землю противника.

Бывало, если у кого-либо не было самого простого складного ножичка или сделанного из куска пилки по металлу, тогда любой из нас обходился большим гвоздём. Словом, эта игра наряду с картёжной, настолько увлекала своим азартом, что порой казалось время пролетало незаметно, как одна секунда, игра во флажки была также не менее интересна, но здесь не стоишь на месте, а бегаешь за флажком на половину противника, а чтобы быть неуловимым, надо много бегать. Как и футбол, эта игра требовала подвижности, выносливости и тренировала бегунов. Девочки играли обычно в классики или прыгали на скакалках. Почти каждый день выбирали игры по настроению. Хотя любую игру начинали спонтанно, произвольно, всё складывалось как-то само по себе. И потом уже не могли остановиться. В наши дни эти игры ушли в небытие. Нынешние подростки рано обзаводятся пороками, хотя в городе для них открыты разные спортивные секции. Так что и впрямь всё течёт, всё меняется...

За постройками колхозного двора, далеко за посёлком, в светлом вечернем мареве тонуло солнце, раскрашивая собой в алый цвет самый окоём небосклона. А дневное тепло, хотя и ушло тем временем, однако, было ещё довольно хорошо ощутимо в преддверии наплывающих сумерек. И вот в тёмно-синем небе жемчужно блеснули первые звёзды. Причём самая яркая стояла довольно низко, почти на краю небосвода. И тотчас же дохнуло освежающей прохладой,

остро запахло молоденькой травкой и пряной землёй; из глубины балки веяло стылой свежестью и пресной водой. Совершенно померкла наша поляна, ещё недавно купавшаяся в багряных отблесках заката, а теперь как-то контурно печально тускнела в последних сполохах догорающей и скоро погасшей зари. Однако даже в сумерках не хотелось покидать её, так бы и стоял, вслушивался в вечернюю песню звёзд и жизнь улицы, с разных концов которой доносились призывы и кличи матерей или бабушек, звавших по домам своих загулявших отпрысков...

Всякий раз я донельзя омрачался, когда на смену чудесным солнечным дням, вдруг приходила влажная пасмурная погода с морозящим сырой пылью или обложным, затянувшимся дождем, длившемся кряду несколько часов. И было вдвойне обидно, если непогода выпадала как раз на весенние каникулы, поскольку нам мамой строго запрещалось выходить на улицу. И тогда сидеть тебе, сколько будет продолжаться ненастье, дома, подобно затворнику в тюрьме и тоскуешь по улице, как по лучшему времени. Помню, как с неистощимой грустью я выглядывал в окно, из которого превосходно просматривалась большая часть посёлка по обе стороны балки и особенно та, вымокшая под дождём, где была наша любимая поляна. В ненастье на ней, однако, можно было увидеть всего два, от силы три пацана.

А мне уже невероятно хотелось находиться вместе с храбрецами, поскольку они сумели освободиться от чрезмерной опеки своих родителей. Или, может быть, таковая мне только казалась по отношению к себе. Когда мы просились у мамы погулять на улице, она очень сердилась, что даже и слушать нас не хотела, совершенно не проявляя к нашим стенаниям и увещеваниям, истинного милосердия. Однако её неуступчивость, объяснялась лишь одним существенным для неё аргументом: только стоит нам выйти на улицу, как мы вернемся домой после игр запачканными грязью. А ведь ей приходилось стирать на всю семью из семи человек. Поэтому, её запрет проистекал исключительно из одного: побережь свой труд, который мы не всегда ценили должным образом, и потому, не идя у нас на поводу, делалась даже жестокосердной: «Вам один раз разреши, – говорила она, – тогда от вас не будет отбою. Хоть бы раз узнали, что такое стирка!» После таких слов, мы больше её не уговаривали, и пока длилась непогода, не выпускала нас из дому.

Но вот дождь наконец прекратился, вот подул ветер и земля понемногу обтряхла, исчезли лужи, поднялись выше сплошные облака, а кое-где проредились, что одним краешком показались солнце, блеснувшее пока что несколькими лучиками. Однако было ещё грязно, по крайней мере, ещё прилипала к ногам земля. Тем не менее, несмотря на это, мама сжалилась над нами, разрешила одеваться и тем самым многодневное домашнее заточение наше закончилось, после которого на улице всё приобретало какую-то необъяснимую новизну, словно мы впервые ощутились в незнакомом доселе месте.

Когда же в дождливую погоду мы ходили в школу, а возвращались домой изрядно заболтанными в грязь, мама как следует нас отчитывала. И после просушки брюк над плитой, заставляла их обминать и очищать засохшую грязь щёткой. И тогда о гулянье после школы не могло идти речи.

Однако ближе к лету, если было дождливо, мы уже больше взаперти не сидели дома, ибо не успеет между туч в прогалину выглянуть горячее солнце, как земля почти тут же как бы сама по себе начинала быстро просыхать и следов от дождя как не бывало. И после ливня мы носимся по улице...

Помню, в теплые ясные майские дни я выкатывал за двор, сидевшую в расписанной под хохлому разноцветными узорами деревянной коляске годовалую сестру Надю. Впрочем, мы с братьями любили ее катать по очереди, а мама тем временем полола на огороде картошку. И вот когда сестре что-то не нравилось, она подымала безудержный плач. Тогда либо я, либо Никитка стремительно бежали на огород, причем кричали всю глотку отчаянно на бегу: «Мама, мама, девочка плачет!» – разумеется, громче звучал сильный голос брата, да ещё вме-

сто правильного «плачет» у него выходило картаво «пьячит», а мой тонкий и писклявый тонул, забиваемый истошным братниным криком.

Это была, пожалуй, лучшая пора нашей сплоченной дружбы, когда мы редко оставляли друг друга, всегда держались вместе. Правда, иногда Никитка порой изменял братской дружбе, куда-то убегал подчас с соседским пацаном Лёней Рекуновым, росшим в семье один у своих родителей с бабкой Пелагеей.

## 2. Сродство трёх душ

Нам, троим братьям Волошиным, имевшим вдобавок ещё и сестру, никогда не приходилось скучать. Ведь детское коллективное воображение всегда богато на различные выдумки игр и забав. В этом отношении только плохо было Лёнке Рекунову, однако, мы по-своему ему покровительствовали, приглашая участвовать в наших играх...

Надо заметить, в мальчишеской среде той поры, под влиянием детских военных фильмов было модным умение делать деревянные ружья, пистолеты, автоматы, к чему я довольно быстро приохотился, как истинный мастер-оружейник.

В ту, послевоенную пору, игры в войну являлись самыми излюбленными для всех мальчишек. К детским военным баталиям нас неизменно подвигали кинофильмы о войне, которые детвора любила смотреть в нашем клубе, чему мной посвящён отдельный рассказ «Забавы ради».

Общеизвестно, как это повелось истари, мальчишки делились на два условных, воющих между собой отряда, каждый со своим личным командиром, из числа наиболее шустрых пацанов, возрастом постарше нас, которых мы называли большими ребятами...

Однако мы, трое братьев, и соседский Лёнка, порой в войну играли отдельно от уличных ребят, прямо в нашем дворе. Кстати, мама часто нас отчитывала только за одно то, что мы устраивали в своём дворе игры с чужими ребятами, к которым, в свой черед, мы ходили довольно редко. А ведь и правда, почему-то все: и соседские, и совсем посторонние пацаны днями околачивались у нас, тот же Димка Метлов, гораздый на разные шkodливые выдумки, поэтому мама считала нас совершенно бесхарактерными, бесконечно уступающими воле посторонних ребят, которые, как полагала она, оказывались намного хитрее и умнее нас, потому что они никого к себе домой не приводили, в отличие от нас, её простофиль.

Возможно, так оно и было, и всё-таки с утверждением мамы теперь я полностью не согласен. Пусть даже мы действительно были не настолько хитры и ловки, как наши друзья по совместным играм, но то, что мы были намного добрей и справедливей своих сверстников, это было воистину так. Ведь наша мама была щедрей многих женщин, никому ни в чём никогда не отказывала, поэтому мы, её дети, не могли быть скроены иначе, чем она, наша мать...

Далее по ходу своего повествования я ещё коснусь взаимоотношений между группами ребят, а пока я должен ввести в рассказ своих двоюродных братьев и сестёр по линии мамы, так как по отцовской, я никогда воочию их не видел. Они жили где-то очень далеко, а в то время я даже не знал, где именно. Впрочем, об этом даже несколько не задумывался.

Итак, мне теперь довольно трудно установить в точности: с какого времени я стал осознавать, что у меня, кроме родных, есть двоюродные братья и сёстры? Может быть, даже это не столь важно, но зато я хорошо сохранил впечатление о тех отношениях, какие зародились между нами, двоюродными братьями, правда, ещё не настолько прочными, чтобы о них говорить уважительно. Может потому, что один был на два, другой на четыре года моложе меня, причём между собой оба тёзки – Вячеславы. В общем, в то время, как видно, они были ещё мало заметны в играх поселковой ребятни. Если первому было шесть лет, он был сыном дяди Митяя, то второму – четыре, он был сыном дяди Власа, из чего вытекает, что они пока не могли собой распоряжаться самостоятельно. А позже считались домашними детьми, так как без родительского благословения никуда далеко от дома не отлучались.

Если о Веронике Снегирёвой я уже кое-что замолвил, то о дочери дяди Власа Галине, пока ещё нечего говорить, поскольку она была на полгода старше нашей Нади и качалась в колыбели.

Вообще-то, в нашем посёлке очень многие были переплетены между собой тесными родственными узами. В далёкие годы коллективизации, основатели посёлка Киров, гонимые

голодом переселенцы, которые имели помногу детей, снимались с насиженных предками мест малой родины в поисках лучшей доли. Одним из них был наш дедушка Пётр Тимофеевич Снегирёв. Об этом периоде обстоятельно рассказывается в авторском цикле романов о народной жизни, который начинается «Разорёнными». И вот взрослые дети переселенцев обзаводились своими семьями, отделялись от родителей, строили хаты, тем самым составив, выражаясь современным языком, родовые кланы. Поэтому все поселчане тем или иным образом между собой переплетены родственными узами.

Вот и наши дядя, мамины родные братья, некогда жили вместе, но стоило им жениться, как они оставили родной очаг, построили хаты, и стали жить отдельно. Средний брат дядя Митяй женился ещё до того, как его сестра Зина вышла замуж, хотя можно сказать, что брат и сестра обзавелись семьями в один год, если не считать разницы в несколько месяцев. В то время как младший брат мамы Влас проходил службу в армии на Дальнем Востоке. Стоит упомянуть и о старшем дяде Сергее, погибшем на войне под Смоленском в 1943 году. О нём мне было известно от мамы лишь одно, что он отличался живым весёлым, находчивым умом, плотничал, столярничал. Так сделанный его руками скворечник просуществовал у нас, на одной из акаций, до моих зрелых лет. Правда, мы его не раз ремонтировали. Дядя Сергей, кроме столярничания, ещё умел неплохо рисовать, так что из него мог вполне получиться токовый художник.

И вот мои дядя, отделившись от родителей, построили хаты, став самостоятельными и в какой-то мере даже чужими. Словом, посёлок разрастался за счёт своей же молодёжи, отделившейся от родителей, чтобы создать свои семейные гнезда...

Особенно большие родовые ветви из братьев и сестёр составляли: Косолаповы, Москалёвы, Находкины, Козловы, Серковы, Куравины, Дёмины, Волошины, Овечкины, Тереховы, но всех не перечислишь, поскольку сёстры меняли девичьи фамилии на мужние, как наша мама. В девичестве была Снегирёва, а стала Волошина, и таких фамилий в посёлке было несколько, считая родственников отца Глеба и Никифора, у которых в свой черёд было у одного – трое, у другого пятеро детей. Между прочим, в то время иметь много детей считалось вполне закономерным явлением, несмотря на постоянную нужду почти в каждой семье. Вот поэтому в небольшом посёлке насчитывалось много детей, подростков, составивших потом нашу молодёжь, когда на танцы в шестидесятые годы в клубе собиралось до полсотни человек. Хотя нельзя забывать и то, что послевоенный всплеск рождаемости объясняется не только тем, что наша страна в войну потеряла почти тридцать миллионов человек, а ещё и тем, что «отец народов» запретил аборт...

### 3. На большой воде

В конце пятидесятых годов XX столетия, в нашей балке пруда ещё не было, и по дну её тѣк сокрытый в зарослях бурьяна извилистый узкий ручей, который мы много раз перепруживали, вооружаясь, принесѣнными из домов лопатами, чтобы образовался хоть какой водоѣм, где в знойные летние дни обыкновенно купались, спасаясь от нещадной жары. Правда, вода собиралась грязная и мутная, она даже как надо не успевала отстояться, как мы на радостях, гордые от своего творения, начинали в ней бултыхаться. А по подбородку и груди стекали чѣрные разводы грязи. Наш прудик долго не держался, его жиденькую плотину постепенно размывало переливавшейся через верх водой. И тогда мы начинали с прежним рвением забрасывать землей, образовавшуюся в плотине брешь...

В ту пору я ещё не бывал далеко от посѣлка, и в своей жизни пока не видел настоящей реки, настоящего озера или пруда, хотя был уже немало наслышан о существовании последнего, находившегося примерно в трёх километрах от посѣлка. Наверное, в то, первое лето, моих школьных каникул, впрочем, может быть, даже годом раньше, когда я ещё в школу не ходил, и точно не помню, когда это произошло, что мой отец вместе с соседом дядькой Веней возили нас, своих отпрысков, на пруд на велосипедах, которые тогда являлись для многих людей самым доступным видом транспорта, таковым он, пожалуй, останется на все времена. Разве что в техническом отношении будут усовершенствованы.

Итак, при виде большого изгибающегося широкого пруда, кое-где к зелѣным берегам подступали заросли кустов, у меня навсегда осталось сильное, неизгладимое впечатление, впечатление оторопи, растерянности и даже страха, только от одного того, что я лицезрел перед собой серебристую, колыхающуюся иссиня-зеленоватыми гребешками кудреватых волн огромную водную поверхность, обильно поросшую у берегов высоким зелѣным чаканом и камышом, в зарослях которых шумел как-то таинственно ветер. И от самой живой плоти воды, для моего ещё не окрепшего сознания, исходила некая опасность.

Я инстинктивно чувствовал, как от воды веяло настороженной, подстерегавшей свою жертву, угрозой, и одновременно доверчиво влекшей к себе. Но приходила догадливая мысль: вот стоит мне окунуться в её леденящую пучину, как она тут же поглотит меня. И, предостерегаемый инстинктом самосохранения, я держался от крутого берега подальше, боясь ненароком свалиться в воду, в то время как отец и сосед, будучи оба навеселе, разделись, побросав одежду на шелковистую зелѣную траву, и что-то суматошно крича, прыгнули в воду, подымая блестящие тучи брызг. А мы с Лѣней сидели на берегу, подминая собой свежую, прохладную траву, наблюдая с гордостью и страхом, как наши отчаянные папаши резво поплыли на перегонки к противоположному берегу. И чем дальше они уплывали, тем я отчётливей испытывал жутковатое чувство, оставленного отцом на произвол судьбы.

Видимо, они вспомнили о нас и тотчас повернули назад, к нашему берегу, словно испугнутые вдруг неким подводным чудовищем, причѣм я очень боялся, как бы отец не утонул. Хотя эта мысль ко мне пришла мимолѣтно, поскольку я был почти уверен, что с отцом, сильным, отважным, ничто не случится; он всё может, и при случае непредвиденной опасности, легко преодолееет возникшую угрозу его жизни. Ведь недаром он был на фронте...

Моѣ первая поездка на пруд состоялась не в самом разгаре дня, а уже ближе к вечеру, когда солнце, ярко сияя своим ликом, стояло довольно высоко, и ещё ощутимо пригревало. А потом оно неожиданно спряталось за тучей, и как-то резко потянуло прохладой, но вскоре стало тихо, и солнце долго не показывалось, и с неба на землю цедила мерная серо-матовая прозрачность. И вот когда наши отцы вылезли из воды, в мокрых чѣрных трусах, и с них стекала прозрачными каплями вода на зелѣный берег, они тотчас живо приказали нам раздеться, решив нас испугать. В частности, я тогда не мог себе представить, как отец это осмелиться сде-

лать на глубине, так как возле самого берега ему было выше, чем по пояс, а мне тем более будет с головой. Однако несмотря на свои несказанные недоумения, я всецело положился на отца, доверившись его благоразумию, что он сделает всё толково, чтобы я не испытал страха перед ужасающей мое воображение глубиной пруда.

И впрямь отец довольно легко поднял меня на руки, как младенца, велел руками держаться за его крепкую шею. При этом видимо переусердствовал, поскольку отец гортанно громозвучно и сердито выкрикнул, с оттенком паники и отчаяния, что, дескать, я так могу ненароком его задушить, инстинктивно сжав свои руки на его шее мёртвой хваткой. И тогда я, убоявшись худшего, невольно расслабился и немного отстранился от ещё мокрого, и вместе с тем горячего тела отца, при его медленном вхождении в воду, избрав для этого более пологое место, где вода доходила уровня берега. И глубина была не так опасна.

И вот с ощущением жуткой оторопи, вдруг вновь овладевшей мной с нарастающей силой, я почувствовал прикосновение к своему телу прохладной воды, отчего непроизвольно вздрогнул, инстинктивно прижавшись к отцу так сильно, словно взаправду сросся с ним, точно siamo близнецы, в одно целое. На этот раз он почему-то не убоялся, что я его придушу, напротив, довольно весело рассмеялся, ободряя меня так, точно ему доставлял невероятное удовольствие мой панический страх. Хотя тон отца был вовсе не лишён этакого озорного любования моим трепетным испугом, что только ему придавало дополнительной смелости в принятом им неожиданном решении приучить меня к глубине, чтобы на большой воде я обрёл уверенность и выносливость. Однако до этого было ещё очень далеко, перед лицом вполне реальной опасности, когда мы погрузились в воду настолько, что над её блестящей, колыхающейся поверхностью, уже торчала одна моя голова, и я неистово, поддавшись безумной панике, заголосил. И мгновение спустя, совершенно напрочь лишился самообладания, когда отец вдруг окунул меня с головой в воду, как при крещении в купели, и тут же, правда, извлёк из погибельной пучины, поглощённой мраком, что я поднял истошный вопль. Меня стала трясти дрожь с ощущением ледяного холода. Ведь дело было, как я говорил, перед вечером, солнце уже едва светило из-за наплывших неплотных облаков.

Между тем соседский пацан вёл себя на руках своего отца спокойней и уверенней меня, однако, тоже выказывал немалый страх, что-то быстро бормоча ему, когда очутился в моем положении, то есть в воде. Видимо, первое время он хотел передо мной выказать себя, намного храбрей меня, правда, его отец входил в воду не столь решительно и каверзно, как это с ходу сделал мой. Дядька Веня окунался достаточно неспешно, выжидательно осторожно при этом что-то наговаривая своему отпрыску успокаивающим тоном, как бы уговаривал сына не бояться. И такое обращение на Лёньку подействовало благотворно.

Не помню, сколько времени мы пробыли на пруду, но это первое своё крещение на «большой воде», оставившее неизгладимый след, я потом часто вспоминал. На этот пруд, который называли большим, я попал, когда стал постарше. Помню, мой тёзка Миша Волошин со своим старшим братом Алексеем позвали меня, и мы пришли сюда рыбачить. Примостились среди камышей, закинули удочки, но ловились одни окуни, редко попадались сазаны или лещи. А потом уже в отрочестве на велосипедах регулярно прикатывали купаться, куда съезжалась отдыхать вся молодёжь из соседнего посёлка Верхний. Но эти воспоминания прибегаю для другого раза, так как на том пруду у некоторых больших ребят начинались романы с девушками, на которых потом они женились. Одна пара так и проситься в отдельную повесть, а потому ей тут не место...

Итак, этот пруд, который позже стали называть озером Рица (не только за размер, но и чистую воду), для нас стал постоянным местом отдыха на многие годы, пока его не использовали для орошения колхозных полей. Не знаю, подняли ли урожайность, а вот пруд, из которого каждое лето двумя мощными дизельными насосами выкачивали до дна воду, совсем обмелел, и его затянуло илом. И он утратил свою величавую прежнюю красоту, превратив-

шись в подобие болота: берега обвалились, камыши засохли. Потом его чистили, углубляли, тем самым изменили русло, два знаменитых полуострова, на которых были пляжи, исчезли, камыши росли плохо, и от былой красоты ничего не осталось...

Однако плавать мы, вся поселковая детвора, выучились в основном в запруде, где всего-то нам было по пояс. И, наверное, илу, грязи тоже там было не меньше, правда, от которого мы как могли, очищали дно до самого твёрдого клейкого основания, чего, конечно, досконально сделать нам не удавалось.

После такого купания родители нас называли не иначе, как лягушатниками. И впрямь, глядя друг на друга, вылезая из чёрного водоёма, мы злорадно смеялись, тыча пальцами в товарищей, видя как на подбородках оставались грязные плохо смываемые разводы, не говоря уже о волосах и теле. Обмываться приходилось только дома в наполненном заранее водой корыте, выставленном специально на солнце для нагрева. И по очереди ополаскивались, причём на перебой друг другу делились перед мамой своими новыми успехами в овладении искусством пловцов...

## 4. Возвращение и смерть беглеца

Соседи Рекуновы второе лето строили дом, собственно, к тому времени он уже давно стоял с двускатной шиферной крышей, и уже изнутри полным ходом шла его отделка, для чего приглашались, как их родственники, так и чужие люди.

Нашего отца, Платона Нестеровича, дядька Веня позвал в дом провести электропроводку под штукатурку. И пока он это делал, мы на дворе Рекуновых, как бы ради такого случая, играли в жмурки. Помню, я легко обхитрил Лёню, прячась от него, забежал в сумрачный дом, где уже были вставлены в рамках стекла и где так остро пахло пресным глиняным замесом с добавкой в него мелкой соломы, а также свежеструганными сосновыми досками, только что настеленными на полы.

Именно дядька Веня и каменщик, и плотник, и жестянщик на бравурной весёлой ноте, своего грубого хриповатого голоса, решительно зазвал меня схорониться за печкой, которую недавно он сам сложил из красного кирпича, и она ещё даже не была оштукатурена. Ободренный его дружеским содействием, я быстро шмыгнул в расщелину, за припечек, где обыкновенно производится сушка дров и сырой одежды.

Лёнька вбежал в переднюю комнату и тотчас быстро спросил у своего отца, не забегал ли сюда Мишка, на что родитель ему живо предложил поискать, явно посулив сыну намек на везение, если проявит в поиске смекалку. И тот моментально воспользовался прозрачным намёком своего отца. Однако, учуяв подвох, как бы нарочно заманутого в подстроенную ловушку, я загодя, чтобы только опередить его приближение, неожиданно выскочил из своего убежища, чего тот конечно не ожидал, и тотчас на время растерялся. А я же, воспользовавшись его замешательством, что есть духу стремительно, полный рвения победить, выбежал на двор из дома. И за собой услышал, как отец Лёньки раскатисто-громко рассмеялся, видно, глядя на оплошность сыночка, снисходительно веселясь над впавшим в конфуз Лёнькой.

Надо сказать, он рос довольно послушным; и будучи у своих родителей единственным, видимо, из-за этого донельзя страдал, испытывая определенные затруднения при общении с нами, казавшимися в его воображении счастливчиками оттого, что нас было трое. Бывало, зимними вечерами баба Пелагея брала за руку внука Лёньку и приходила к нам скоротать время, и всякий раз объясняла маме причину визита тем, что Лёне, дескать, одному довольно скучно высиживать вечера до сна, и ему хотелось поиграть с нами. Разумеется, бабкин довод был для нас вполне убедителен, мы его принимали, и он вступал в наши игры как-то несколько стеснительно. Самой же бабке Пелагее тоже хотелось почесать языком, она слыла большой любительнице перетолковывать уличные сплетни и просто вести досужие разговоры.

Наша мама никогда не сидевшая без работы, этим временем перебирала шерсть. И за таким не хитрым занятием она слушала бабу Пелагею, рассказывавшую ей какие-нибудь поселковые новости или сплетни: кто-то жене изменил, кто-то подрался, кто-то проворовался. Сама же мама говорила мало, лишь в тех случаях, когда ей крайне не нравилось то, о чём с таким интересом трезвонила ей старая соседка, с несколько рябоватым лицом. И тогда мама подвергала резкой критике услышанное от неё, потому как нередко баба Пелагея перевирала на свой лад различные слухи для пущей убедительности, чтобы поразить маму тем или иным искаженным ею событием. Мама уже достаточно изучила уловки бабы Пелагеи и поэтому выслушивала ту недоверчиво, причём с неохотой, изредка со скрываеваемой неприязнью посматривая на соседку, чинно лузгавшей жаренные подсолнечные семечки, от которых в натопленной горнице стоял запах перекипевшего подсолнечного масла.

Между прочим, неприязнь мамы к бабе Пелагее была давней, застарелой, собственно, относившейся ещё к той поре, когда была жива наша бабушка Маша, которая отличалась тихонравным, покладистым, рассудительным характером. Она также была принципиально честная,

не любила всех тех, кто, злостно приспособлялся, кто двоедушничал, праздно болтал и распространял лживые слухи. В общем, между двумя соседками время от времени вспыхивали ссоры в основном после услышанного бабой Машей от нагловатой бабы Пелагеи оговора, что её родной брат Егор был кулак, и они, Снегирёвы, убежали от раскулачивания...

Однако сварливая соседка очень рано стала страдать болезнью ног, на которых у неё вечно не заживали какие-то раны, покрытые струпьями. Ходила она, насколько я помню, всегда с деревянной клюкой, немного прихрамывая. Своего мужа она потеряла на войне, впрочем, как и другая соседка баба Натаха Волоскова. От их же дочерей вскоре уйдут мужья, о чём я обстоятельней упомяну ниже.

В отличие от своих соседок наша мама жила с мужем, каким бы он ни был. Правда, один раз, о чём в своём месте говорилось, он тоже уезжал, но это было первое и последнее бегство отца от нас. Мама никогда не обзывала обеих соседок брошенками, это было не в её природе. Баба Пелагея продолжала приводить к нам внука. Этот соседский паренёк, проводивший с нами зимние вечера в присутствии своей бабули, в нашу жизнь вносил некоторую новизну. Когда баба Пелагея, которая считала, что уже изрядно засиделась, оповещала внука, что им пора уже топтать домой, мы, и её внук Лёня тут же жалобно просили, чтобы они побыли у нас ещё немного. Однако в своём решении его бабуля была непреклонна, одевала внука в пальтишко и уводила, держа того за руку, при этом сердито ему наговаривала: «И что же ты таков нудный, вони же ночь могут сидеть, а ты у нас ни таков, шукай всё, что б им не досталось». С одной стороны ей было вроде бы жалко внука, что ему дома не с кем играть, и от этого, приводя его к нам, она шла ему на уступки, а с другой – она не желала, чтобы их единственное чадо как бы чего плохого не нахватался от нас, отчаянных шалунов. И впрямь, иной раз соседи о нас отзывались отнюдь не лестно, хотя мы, в полном смысле, сорванцами и хулиганами не слыли. Тем не менее это опасение соседей говорило о том, что по своему крестьянскому происхождению они ставили себя значительно выше нас. В первую очередь это относилось к нашим родителям, которые для Рекуновых ничего из себя не представляли. Для них, чем важнее была особа, тем почётнее с ней знаться. Однако наши родители заслуживали почтительного к себе отношения одним тем, что слыли добрыми и отзывчивыми, с которыми такие отношения только и можно было поддерживать, а для своей выгоды стремились к сближению с бригадиром и учётчиком и т. д.

А нам, да и людям было отчего недоумевать, когда дядька Веня собственноручно выстроил на высоком фундаменте дом с верандой, а потом через год неожиданно оставил семью и отбыл в неизвестном направлении. По крайней мере, так нам казалось, хотя на самой деле мне помнится, как родители Лёньки между собой скверно ладили, постоянно скандалили. Его отец слыл настоящим буяном, постоянно гонял жену, тещу и сына, и бедолагам приходилось скрываться бегством, находя у нас приют на время разъярённого хозяина.

Что заставило дядьку Веню вдруг бросить жену и сына, я не знаю и по сей день. Хорошо помню то воскресенье, когда дядька Веня зачем-то поехал в город, а домой не вернулся. Его, конечно, ждали, видимо, не один день, и даже подавали в розыск, о его нахождении ходили разноречивые слухи, что-де он проворовался и потому был вынужден скрываться. Даже говорили, что он примкнул к преступной шайке, которую переловили и потом осудили.

Помню, на мой вопрос, почему дядька Веня бросил семью, мама отвечала: «Ему очень не нравилась баба Пелагея. А кому она нравится у нас, она же самая первая сплетница, я бы с такой под одной крышей тоже не жила. А тётка Валя всегда заступалась за мать, вот и получился разлад. Дядьку Веню я не защищаю, он был хороший хозяин, дом какой построил, но отъявленный задира. А наш отец не задира, и по хозяйству плохо помогает...»

И чтобы о дядьке Вене довести рассказ до конца, следует сказать, что некогда сгинувший без следа, он вдруг объявился точно так же, как и исчез на долгие годы. Когда Лёнька, его сын, отслужил армию, он заявил своё право на жительство. Но Лёнька, выросший без отца,

воспротивился его желанию, поскольку не мог простить ему предательства, из-за чего много перестрадал. И после длительных переговоров с Лёнкой дядька Веня, с трудом получил разрешение сына и был принят в семью. Хотя до конца так и не был прощён.

В колхозе дядька Веня работал на скотне, говорили, что где-то у него была ещё одна семья, что несколько лет он провёл в тюрьме. На свободу вышел с изрядно подорванным здоровьем, и пожив с семьёй женившегося сына года два, он прямо на ферме умер, к его смерти многие отнеслись спокойно, словно тот заслужил такую кару...

Заодно расскажу о других соседях, Волосковых, у которых произошла почти сходная история. Правда, у тётки Марфы, дородной, чересчур толстой женщины, было две дочери и она тоже жила с матерью. Кстати, обе её дочери были такой же комплекции, росли этакими пампушками толстощёкими и толстоногими, отец которых в поведении почти ничем не отличался от первого соседа; он тоже был неисправимый пьяница и буян, гнал самогон; от их двора постоянно несло сивушным запахом. На этой почве два соседа были дружны. Вот только хорошо не помню, участвовал ли наш отец в их пьяных оргиях, продолжавшихся даже ночью. Если и бывал когда в их компании, то, наверное, не столь часто, так как наш отец, будучи не буян, таких людей, какими слыли оба наших соседа, всячески сторонился. И вот Волосков тоже уехал, правда, основательно, с вещами, не посмотрев даже на то, что обрекал на полусиротскую участь своих двух дочерей...

Я уже тогда начинал понимать, что через несколько лет после заключения брака жёны часто вполне обоснованно остаются недовольны своими мужьями, и выясняется, что не разглядели в своих суженых таких, каких им бы хотелось иметь. Это относилось не только к неудачливым соседкам, которые вышли замуж за бывших солдат, проходивших службу в армии в наших краях, а также и к нашей маме, терпеливо сносившей бремя с постылым мужем. Но эта проблема не относится к теме данных записок, для меня важно передать саму атмосферу моего детства, воспоминания о котором, однако, не так-то легко извлечь из памяти, звучащих в душе приятной любимой мелодией, вызывающей тоску по той поре, что детство никогда не повторится...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.